



ОЛДОС

ХАКСЛИ

*БЕСЫ ЛУДЕНА*

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я    К Л А С С И К А

# Олдос Леонард Хаксли

## Бесы Лудена

Серия «Эксклюзивная классика (АСТ)»

*Текст предоставлен правообладателем  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=139798](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=139798)  
Бесы Лудена / Олдос Хаксли: АСТ; Москва; 2020  
ISBN 978-5-17-116638-0*

### Аннотация

Франция первой половины XVII века – эпоха Людовика XIII и кардинала Ришелье. Городок Луден, в котором внезапно сходят с ума монахини урсулинской обители. В духовном и сексуальном соращении сестер обвинен католический священник Урбен Грандье. Страстный женолюб и жизнелюб, харизматичный и образованный человек, он должен понести суровое наказание за колдовство и отправиться на костер. Сплотившиеся против Грандье утверждали, что он коварный искушитель и пособник дьявола. Хаксли, подробно изучивший исторические документы об этом нашумевшем судебном процессе, полагает, что священник пал жертвой политических интриг.

Автор не просто оживляет события прошлого, он анализирует луденский инцидент, опираясь на современные ему теории, богато иллюстрирует материал примерами из заметок о французской жизни, выдержками из богословских и научных трудов, цитатами из шедевров мировой художественной

литературы. Он также ищет подлинную связь между такими явлениями, как охота на ведьм, фашизм, коммунистическая идея и преследование «сочувствующих красным» в США.

*В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.*

# Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	64
Глава третья	105
Конец ознакомительного фрагмента.	135

# Олдос Хаксли

## Бесы Лудена

### Глава первая

Первый визит Джозефа Холла, автора сатир и будущего епископа, во Фландрию состоялся в 1605 году. «О, сколь великое множество храмов Господних предстало нам разрушенными, сколь красноречиво глаголили их руины о том, что места сии познали и благодать молитвы, и жестокость врага. О, прискорбные последствия войны!.. Но что за диво — храмы повержены, а иезуитские коллежи процветают. Не встретилось нам ни единого города, где не действовал бы либо не строился бы иезуитский коллеж. Откуда сие? Не в том ли дело, что политика поставлена на службу самой вере? Люди эти (подобно лисице) наибольшего успеха добиваются в тех местах, где их яростнее всего клянут. Никто, кажется, не исходит подобной злостью; никто не вызывает подобной ненависти; никому с таким рвением не противостоят сторонники наши — а все-таки прорастает обильно сия сорная трава!»

Объяснялось же все весьма просто и тривиально: на иезуитские коллежи был спрос. Для иезуитов (о чем знал Джозеф Холл, да и его современники тоже) политика всегда сто-

яла на первом месте. Коллежи возникали с целью укрепления Католической церкви, осаждаемой врагами – «либертернами» и протестантами. Благочестивые отцы рассчитывали выпестовать целый класс образованных прихожан, которые ставили бы интересы Церкви превыше собственных. Приведем слова Черутти, взбесившие Жюль Мишле: «Дитя пеленают туго для профилактики, желая, чтобы члены его развивались пропорционально; точно так же следует спеленывать и нрав, дабы в жизнь дитя вступило с запасом целительной гибкости, от которой зависит благополучие». Добавим, что намерение, сиречь дух, отличалось мощью, методика же, сиречь плоть – была слаба. Как ни спеленывали в иезуитских коллежах школярский нрав, отдельные лучшие ученики вырастали в вольнодумцев, а то и, подобно Жану Лабади, в протестантов. Если же говорить о «политике», то и здесь система не вполне оправдывала чаяния своих создателей. Потенциальным клиентам мало дела было до политики – их волновало только образование собственных отпрысков. А иезуиты выгодно выделялись на фоне поставщиков сей услуги. «Что получил я за семь лет, проведенных в стенах иезуитского коллежа; что видел? Жизнь умеренную и упорядоченную. Каждый час отцы-иезуиты употребляли на то, чтобы учить нас, либо на строгое исполнение своих обетов. Свидетельствовать в пользу моих слов могут многие тысячи тех, кто, как и я, прошел обучение в иезуитском коллеже». Так писал Вольтер. Цитата говорит о высоком качестве иезуитской ме-

тодики. Однако жизнь Вольтера – тоже свидетельство (при том гораздо более красноречивое) полного провала, постигшего педагогов – ведь главной-то цели, «политической», они так и не достигли.

Ко временам Вольтерова отрочества иезуитские коллежи успели стать привычным явлением. Но всего столетием ранее их неоспоримые достоинства произвели в педагогике настоящую революцию. Ведь в тот далекий период наставники всех прочих учебных заведений отлично преуспели лишь в одной науке – науке обращения с розгой; прочие были для них в новинку. В иезуитских коллежах, напротив, педагогов тщательно отбирали и непрестанно стимулировали повышать квалификацию, а воспитательные меры на общем фоне отличались гуманностью. Латынь отцы-иезуиты преподавали на высшем уровне; знакомили школяров с последними открытиями в области оптики, географии и математики; заодно учили актерскому мастерству (принято было в конце семестра давать спектакль, и каждый становился событием). Прибавьте к этому этикет, внушение пиетета к Церкви, а также (по крайней мере, во Франции после перехода Генриха IV в католичество) еще и почитание королевской власти. Мы получили характеристики, крайне привлекательные для всех членов типичного знатного семейства. Прежде всего для матери такого семейства, в своем мягкосердечии страшящейся самой мысли о регулярных порках, коим обожаемое чадо неизбежно станет подвергаться в любом колле-

же, кроме иезуитского. Затем, для дядюшки, образованного священника, со слабостью к убедительным теориям и Цицеронову стилю. Наконец, для самого отца, человека государственного, преданного принципам монархизма, а то предусмотрительного буржуа, уповающего на иезуитов как на силу: дескать, уж они-то пристроят воспитанника на хорошую должность, либо найдут ему местечко при дворе, либо обеспечат синекурой. И вот вам, в качестве примера, несколько подобных семейств. Во-первых, месье Корнель из Руана, адвокат, и его супруга Марта ле Пезан. Их сынок, Пьер – мальчик на диво способный; отправить его к иезуитам! Во-вторых, месье Жоаким Декарт, судья и советник Парламента<sup>1</sup> в городе Ренн: в 1604 году он послал своего младшенького, восьмилетнего умничку Рене, в только что открывшийся (на монаршие средства) коллеж Ла-Флеш. В-третьих, ученый каноник Грандье из Сента, имеющий племянника четырнадцати лет, именем Урбен. Отрок, сын юриста, пусть не столь богатого и родовитого, как господа Декарт и Корнель, но все же весьма и весьма респектабельного, проявляет блестящие способности и, безусловно, заслуживает самого лучшего. А какое учебное заведение считается лучшим в окрестностях Сента? Разумеется, коллеж в Бордо – опять же, иезуитский. Сей храм наук включал в себя школу для мальчиков, кол-

---

<sup>1</sup> Парламент во Франции – судебная инстанция. Всего было 13 провинциальных парламентов без иерархического подчинения, но Парижский считался наиболее авторитетным. – *Здесь и далее, если не указано иначе, примечания переводчика.*



леж изящных искусств, семинарию, а также курсы для выпускников, желавших совершенствоваться и далее. В этих стенах чрезвычайно одаренный Урбен Грандье провел более десяти лет – начал школяром, затем стал студентом-теологом, наконец, после рукоположения (1615 год) – послушником иезуитского ордена. О нет, вступать в орден он не собирался – очень уж суровым казалось Урбену монашье житье. Ежедневным лишениям в монастыре он предпочел карьеру пастыря, наставника мирян. Ибо человек, одаренный подобно Урбену Грандье, вдобавок имеющий покровительство одной из самых влиятельных организаций внутри Церкви, мог на сем поприще продвинуться преизрядно. Грандье не исключал для себя места духовника в знатном семействе, или наставника будущего маршала Франции<sup>2</sup>, а то и кардинала. Рисовались Грандье приглашения блеснуть красноречием перед епископами, принцессами крови и даже самой королевой. Грезил он о дипломатических миссиях, высоких постах, процветающих синекурах, сочных бенефициях<sup>3</sup>. Виделся Грандье даже закат его дней, раззолоченный благами, кои дает епископский сан; хотя на это как раз уповать у него резона не было – родословной не вышел.

---

<sup>2</sup> Маршал Франции – высшее воинское звание во Франции, одно из самых старых маршальских званий в Европе.

<sup>3</sup> Бенефиций – доходная должность при храме, реже – земельное владение. Число бенефициев, которые мог получить священник, не было ограничено. Упразднены решением Второго Ватиканского собора, однако, например, в Австрии старый институт бенефициев действует и поныне.

Впрочем, начало карьеры было столь блестящим, что Грандье вполне уверился и в счастливом ее продолжении. Уже в двадцать семь лет, после двухлетнего углубленного курса теологии и философии, прилежание и похвальное поведение Грандье вознаграждаются приходом Сен-Пьер-дю-Марше в городе Лудене. В то же время, и стараниями тех же благодетелей-иезуитов, Грандье становится каноником коллегиальной церкви<sup>4</sup> Святого Креста. Урбен Грандье шагнул на первую ступень карьерной лестницы; ему оставалось только двигаться вперед и вверх.

К вновь обретенному уделу молодой пастор приближался верхом. Взорам его открылся городок на холме. Над невысокими постройками доминировали две башни – шпиль собора Святого Петра и донжон средневекового замка. Выходило несоответствие, в известном смысле символичное. Тень готического шпиля ложилась на город, в котором чуть ли не половина жителей были гугенотами, с отвращением косившимися на собор. Массивный донжон, выстроенный графами де Пуату, являлся символом величия и мощи – но до поры до времени. Скоро, очень скоро кардинал Ришелье станет первым министром короля, и для гугенотской автономии, для привилегированных провинциальных крепостей начнет-

---

<sup>4</sup> Коллегиальная церковь, или коллегата – община, населяемая и управляемая канониками, которые хотя живут и служат Богу совместно, но, в отличие от монахов, владеют частной собственностью, получают ренту от доходов своей церкви, не приносят торжественных обетов (кроме обета безбрачия) и вольны в любой момент покинуть общину.

ся обратный отсчет<sup>5</sup>. Не подозревая об этом, молодой кюре направлял бег своего коня прямо к заключительному акту религиозной войны, или, если угодно – к прологу к национальной революции.

С городских ворот, по обычаю того времени, новому кюре склбилась пара висельников. В стенах славного города Лудена все было, как везде: непролазная грязь и сложносо-чиненное амбре. Пахло всем и сразу: дымом очагов, экскре-ментами, гусями, благовониями, свежесыпеченным хлебом, конским потом, свиным навозом, немывыми человеческими телами. Большинство (презираемое и безымянное) из четыр-надцатитысячного населения Лудена составляли крестьяне, подмастерья, поденщики и прислуга. Чуть выше, на первой ступени буржуазной респектабельности, теснились лавочни-ки, искусные мастера и мелкие чиновники. Над ними – огра-ниченные рамками своего звания, но довольные неоспори-мыми привилегиями и властью над нижестоящими – поме-щались богатые купцы, ученые, знать. И у этих имелась своя иерархия – от мелкопоместных дворян к землевладельцам, от них же – к крупным феодалам и прелатам. Нечасто по-падался здесь оазис культуры, нечасто можно было насла-

---

<sup>5</sup> Речь идет о 1617 году. Но уже в 1627 году крепость Ла-Рошель – оплот гуге-нотов – подстрекаемая и спонсируемая Британской империей, выступит против армии французского короля Людовика XIII. Благодаря хитрому плану кардинала Ришелье город был взят, политическая оппозиция подавлена, гугенотское «го-сударство в государстве» лишилось налоговых льгот, замысел англичан не дать Франции превратиться в сильную морскую державу провалился.

даться дискуссией о высоких материях. За пределами сих оазисов источало миазмы провинциальное болото. У представителей богатых сословий из поколения в поколение, подобно злему недугу, передавалась жажда денег, земель, прав и привилегий. К удовлетворению этой жажды было в Лудене как минимум два десятка адвокатов, восемнадцать стряпчих, столько же бейлифов и восемь нотариусов.

Время, свободное от тяжб, горожане посвящали семьям (в том числе чужим), ибо жизнь семейная есть неиссякаемый источник радостей и горестей. Также, поскольку Луден был городом, разделенным по вере, не утихали в нем диспуты теологического характера. Спорили, впрочем, всё больше о форме, нежели о содержании. Ибо за то время, что Урбен Грандье служил в Лудене, не было замечено там ни единого проявления истинной духовности. Духовною жизнью живут люди исключительные, коим по опыту известно, что Господь есть Дух, и поселить его должно не где-нибудь, а в самом сердце, – но таких-то людей в Лудене и не было. Правда, наряду с негодяями попадались горожане честные, благонамеренные, благочестивые и даже с искренней верой. Однако святых – тех, чьего присутствия довольно для подтверждения: жизнь вечна, а святость пронизает все сущее, – таких персонажей в Лудене не встречалось. Лишь шестьдесят лет спустя вступила в городские стены некая Луиза де Тронше, претерпев для начала терзания как плоти, так и духа, и стала работать в луденской больнице. Тут-то и закрутилась вокруг

Луизы духовная жизнь. Стекались к ней люди всех возрастов и сословий, спрашивали о Боге, молили о совете и помощи. «Они слишком меня возлюбили, – писала Луиза в Париж своему духовному наставнику. – Я стыжусь их любви, ибо стоит только мне заговорить о Господе, как слышатся рыдания потрясенных горожан. Боюсь, я лишь укрепляю общее мнение о моих особых дарованиях». Луизе хотелось бежать, скрыться; но она стала заложницей всеобщего поклонения. Нередко, когда Луиза молилась, страждущие исцелялись, и исцеление тотчас приписывалось Луизе. «Если я когда-либо и впрямь совершу чудо, – писала Луиза, – я сочту его знаком, что я проклята». Так прошло несколько лет, и наконец Луиза получила приказ от своих наставников покинуть Луден. Для горожан захлопнулось единственное окно, сквозь которое проникал живительный Свет. Они погоревали – да и утешились. Луден вернулся в прежнее состояние – то самое, в каком пребывал в памятный день приезда Урбена Грандье.

С самого начала мнения о Грандье резко разделились. Большая часть набожнейшего из полов приняла нового пастыря безоговорочно. Прежний кюре был дряхл, косноязычен и жалок. Его преемник – мужчина в расцвете сил, высокий, прекрасно сложенный – держался с мрачноватым, а по свидетельству одного современника – даже и с королевским величием. Глаза его поражали темною глубиной, из-под биретты выбивалась копна смоляных кудрей, лоб был высок, нос – подобен орлиному клюву, губы – алые, полные – живо

выражали каждую эмоцию. Изящная вандейковская борода украшала его подбородок, усы он носил в ниточку, помадил и завивал кончики, так что они походили на пару кокетливых вопросительных знаков. Всем знакомым с легендой о Фаусте новый кюре казался воплощением самого Мефистофеля – только более упитанным, отнюдь не отвратительным и в нарядном церковном облачении. Если же сей двойник и уступал своему прообразу в ловкости ума, то лишь самую чуточку.

К соблазнительной внешности прибавим такие светские достоинства, как изысканность манер и умение вести оживленный разговор. Урбен Грандье отпускал комплименты с изяществом, если же дама была недурна собой, то за комплиментом следовал взгляд, льстящий более самих слов. Мигом стало ясно, что новый кюре питает к своим прихожанкам не только пасторский интерес.

Грандье выпало родиться и жить на самой ранней заре так называемой эры респектабельности. На протяжении Средних веков и даже в первые годы Нового времени разрыв между догматами католицизма и исполнением их на практике был истинной пропастью из тех, чьи глубина и ширина разом отменяют самую идею о мосте. Ни Средние века, ни эпоха Возрождения не могут похвалиться автором, у которого священники – от прелатов до послушников – не были бы поголовно развратниками. Церковная коррупция никуда не делась в эпоху Реформации; и стала тяжким наследием Контр-

реформации. После Тридентского собора неподобные священники встречались все реже, пока наконец, к середине семнадцатого столетия, их племя не вымерло. Дошло до того, что отдельные епископы, своим саном обязанные единственно несчастью оказаться в знатном семействе младшими сыновьями, – даже они теперь соблюдали приличия. Поведение низшего духовенства отслеживалось сверху, своими же; высшее духовенство не шалило, страшась структур вроде Общества Иисуса и ораторианцев. Во Франции монархия использовала Церковь в качестве инструмента для усиления централизованной власти, принося в жертву протестантов, высшую знать и традицию автономии провинций; следовательно, пеклась и о нравственности духовенства. Народные массы не станут доверять Церкви, если ее служители ведут себя неподобающим образом. Однако в стране, где «Я» (то бишь монарх) – не только государство, но и церковь – в такой стране неуважение к Церкви есть неуважение к самому королю. Вот что пишет Пьер Бейль в одном из многочисленных примечаний к своей грандиозной Энциклопедии<sup>6</sup>: «Помню, спросил я однажды знатного Вельможу, который пред тем долго расписывал мне Пороки венецианского Духовенства – спросил его, как же Сенат терпит сие, как дозволяет срамить

---

<sup>6</sup> Бейль, Пьер (1647–1706) – французский мыслитель, автор «Исторического и критического словаря» («Dictionnaire Historique et Critique»), по сути – биографической энциклопедии. Опасаясь выражать отдельные идеи в основных статьях своего произведения, Бейль снабдил «Словарь» многочисленными примечаниями.

честь Религии и Государства? Наш Государь, отвечал сказанный Вельможа, допрежь всего печется об Общественном Благе. Далее он разъяснил им же самим загаданную Загадку. Вышло, что Сенату даже выгодны Пороки Пастырей и Монахов, ибо они, Пороки, отвращают от Духовенства простой Народ – стало быть, Духовенство не сможет поднять Народ на Смуту. Отсюда же проистекает и Недовольство Принца Иезуитами. Ведь Иезуиты хранят Честь своего Ордена, чем заслуживают почтение Простолюдинов, а значит, могут и поднять их на Бунт».

Так вот, во Франции семнадцатого века государственная политика в отношении пороков духовенства была прямо противоположна той, которую проводил Венецианский сенат. Этот последний, из страха, что Церковь станет более влиятельной, только радовался, если священники вели себя по-свински, и ненавидел благочестивых иезуитов. Напротив, Французская монархия, с ее политической мощью и выраженным национальным духом, отнюдь не имела причин опасаться папского влияния; более того, она видела в Церкви удобный инструмент правления. Отсюда проистекало благоволение французской Короны иезуитам, отсюда же – и ее нетерпимость к порокам духовенства (особенно к порокам худо скрываемым)<sup>7</sup>. Служение нового пастора начина-

---

<sup>7</sup> Следующие выдержки взяты из трудов Генри Чарльза Ли о состоянии Церкви во Франции после Тридентского собора. В начале описываемого периода «влияние Тридентских канонов не было удовлетворительным. На королевском совете в 1560 году Шарль де Марильяк, епископ Вьенский, объявил, что дисциплиной



лось в период, когда скандальные истории со священниками — пусть пока и весьма частые — уже сделались отвратительны властям.

Младший современник Урбена Грандье, Жан-Жак Бушар, оставил мемуары о своих детстве и юности — документ столь клинически объективный, столь свободный от каких-либо сожалений и раскаяния, что и в девятнадцатом веке его напечатали крошечным тиражом (исключительно для специалистов), да еще и снабдили исполненными священно-

---

священники злостно пренебрегают и что никогда прежде не было таких частых скандалов, а жизнь священников никогда не заслуживала столь сильного осуждения... Французские прелаты, подобно прелатам немецким, имели обычай собирать „налог на наложниц” со всех священников; тех же, у кого не имелось любовниц, информировали: дескать, можете завести таковых, если вам сие желательно; однако, если и не заведете, налог платить все равно придется». «Очевидно, что стандарты морали для духовенства отнюдь не повысились от усилий святых отцов на Тридентском соборе; однако изучение церковных архивов показывает, что по мере укрепления роли приличий в обществе на протяжении семнадцатого и восемнадцатого столетий открытые и циничные нарушения духовных дисциплин священниками становились всё более редкими». Крайне важно стало избегать скандалов. Если святой отец содержал любовницу, то исключительно «под видом сестры или племянницы». Сводом законов от 1668 года запрещалось отлучать минимитов [нищенствующий орден. — Ю. Ф.], если они, «поддавшись искушению плотью или воровством, прежде, чем согрешить, благочестиво снимают рясу». (Генри Ч. Ли, «История священнического celibата», гл. XXIX, «Церковь после Тридентского собора».) Все это время предпринимались судорожные усилия для укрепления подобающего поведения. В 1624 году, например, преподобный Рене Софье был обвинен в адюльтере с женой судьи, причем грешила парочка прямо в церковных стенах. Лейтенант города Ле-Мана приговорил его к повешению. Дело передали в Парижский парламент, который заменил повешение на сожжение заживо. — *Примечание автора.*

го негодования комментариями по поводу чудовищной развращенности автора. Едва ли Бушар способен шокировать поколение, воспитанное на трудах Хэвлока Эллиса, Крафт-Эбинга, Магнуса Хиршфельда и Альфреда Кинси – и все же его произведение впечатляет. Действительно, есть чему изумиться. Подданный Людовика XIII описывает самые возмутительные формы сексуальной активности без экивоков, скупым, сухим, научным стилем – словно современная студентка заполняет антропологическую анкету, или психиатр ведет историю болезни. Декарт был десятью годами старше Бушара; но задолго до того, как Декарт взялся за вивисекцию «подопытного материала», попросту – собак и кошек, Бушар успел завершить целую серию психо-химико-физиологических экспериментов на горничной своей матушки. Девушка была образчиком нравственности почти воинствующей; тем не менее Бушар явил терпение и смекалку, достойные академика Павлова, – и привил сему продукту безоговорочной веры идеи натурфилософии. В итоге горничная не только согласилась на роль морской свинки, но и сама увлеклась экспериментами. На прикроватном столике Жан-Жака всегда лежало не менее полудюжины томов по анатомии и медицине. Отвлекаясь от штудии или от ласки (сугубо экспериментальной), одаренный предшественник Пlossа и Бартельса<sup>8</sup> раскрывал, бывало, гарвеевский «Рост и развитие моло-

---

<sup>8</sup> Пloss, Герман Генрих (1819–1885) – немецкий антрополог, этнограф, гинеколог, автор книги «Женщина в естествознании и этнографии». Бартельс, Пауль

дых животных», или томик Жана Фернеля, или Ферандеса, да сверялся с написанным в соответствующей главе. В отличие от большинства своих современников, Бушар презирал авторитеты. Ливин Лемменс или, к примеру, Родриго де Кастро, могли что угодно писать об устрашающих свойствах менструальной крови – Жан-Жаку Бушару непременно требовалось проверить все самому. С помощью горничной, теперь уже податливой, словно воск, Бушар провел ряд опытов и понял, что с незапамятных времен врачи, философы и теологи беззастенчиво лгали. Менструальная кровь, оказывается, не способна гноить траву, замутнять зеркала, уничтожать цвет виноградных лоз, растворять битум и портить клинки вечными ржавыми пятнами. Короче, биологическая наука лишилась одного из самых многообещающих исследователей, когда Бушар сбежал из Парижа. Причин было две. Первая – нежелание жениться на своей помощнице и подопытной. Вторая – упование схватить фортуна за хвост при папском дворе. Бушар только-то и хотел, что епархию где-нибудь подальше от родных мест; на худой конец сошла бы и Бретань; совсем маленькую, скромную епархию с годовым доходом, скажем, тысяч в семь ливров. (Шесть с поло-

---

Рудольф Август (1874–1914) – немецкий физиолог. Наиболее известен как автор третьей редакции (1908) знаменитого компендиума «Женщина в естествоведении и этнографии» труда Г. Г. Плосса, с 1887 г. выходившего в редакции его отца М. Бартельса; эта книга, обычно упоминавшаяся как «Плосс и Бартельс» (Ploss & Bartels), по мнению рецензента английского перевода 1935 года, стала «самым исчерпывающим и полным описанием женщины, какое у нас есть».

виной тысяч ливров выручал Декарт, весьма разумно распорядившийся отцовским наследством. Не бог весть сколько, однако такая сумма позволяла философу вести образ жизни джентльмена.) Бедняге Бушару не повезло. Для современников он остался эксцентричным автором сборника стихотворений на сорока шести языках, включая коптский, язык индейцев Перу и японский. Сборник назывался «Panglossia», что можно перевести как «Болтовня». Умер Бушар неполных сорока лет.

Новый луденский пастор никакими отклонениями не страдал. Аппетит у него был хоть и завидный, но вполне здоровый – при таком аппетите мужчина не превращает опочивальню в лабораторию. Подобно Бушару, Грандье происходил из респектабельного буржуазного семейства и, подобно Бушару, получил воспитание у священнослужителей. Он не уступал Бушару ни в интеллекте, ни в образованности, исповедовал идеи гуманизма и тоже рассчитывал сделать блестящую духовную карьеру. Пусть эти двое не походили друг на друга темпераментом, зато ни социальных, ни культурных различий между ними не было. Вот почему в повествовании о Грандье воспоминания Бушара о своих детстве, юности и наездах домой на каникулы не только уместны, но и необходимы.

Казалось бы, к чему Бушаровы «Признания», когда практически тот же мир открывают нам наши современники-сексологи? И все же смысл в этом есть. Мы видим фриволь-

ные забавы юных школяров; похоже, взрослым вовсе нет до них дела. Коллеж с его добрыми отцами-иезуитами не озаботился физическим воспитанием — мальчикам некуда выплескивать энергию, и она находит выход лишь в мастурбировании при каждом удобном случае, да еще, во время «коротких дней», юные затворники практикуют мужеложество. Душеспасительные беседы и красноречивые проповеди имеют на мальчиков кое-какое влияние — так, Бушар признается, что четыре главные церковные праздника удерживали его от сексуальных утех; правда, не долее чем на восемь-десять дней подряд. Никогда не удавалось ему вытерпеть хотя бы две недели, хотя благочестие его несколько обуздывало. Поведение человека в любых заданных обстоятельствах можно представить как диагональ параллелограмма с желаниями либо интересом в основании и религиозными либо этическими идеалами в верхнем углу. В случае с Бушаром — как, пожалуй, и с его юными сексуальными партнерами, упомянутыми поименно, — диагональ, наверное, чуть ли не превращалась в параллельную прямую. Иными словами, угол треугольника выходил острым-преострым, всего в несколько градусов.

Когда Бушар приезжал домой на каникулы, заботливые родители укладывали его спать в одной комнате с юной горничной. Бодрствуя, она была сама добродетель, но могла ли она отвечать за происходящее с нею во время сна? Похоже, девица даже составила собственную систему казуисти-

ки, согласно которой вовсе не имело значения, спит она или притворяется. Когда школьные годы остались позади, в жизни Жан-Жака появилась молоденькая крестьянка. Она пасла коров в саду и за мелкую монетку с готовностью удовлетворяла все господские прихоти. Потом – снова горничная, сбежавшая от сводного Бушарова брата, похотливого настоятеля Кассанского аббатства, – и угодившая из огня да в полымя. Именно этой девушке суждено было стать подопытной морской свинкой и помощницей в сексуальных экспериментах Бушара, описанных во второй части «Признаний».

Пусть пропасть между Бушаром и наследником Французского престола была широка и глубока – воспитывались оба, и будущий Людовик XIII, и его куда как скромный современник, приблизительно в одной атмосфере. Жан д'Эруар, личный врач дофина, в дневнике описывает, каково было детство семнадцатого столетия. Исключительность маленького Луи состоит хотя бы в том, что он стал первым мальчиком, родившимся в законном браке у французского короля за период в более чем восемьдесят лет. Впрочем, на фоне дофиновой бесценности только резче проступают общие педагогические тенденции того исторического периода. Действительно: если даже сие уникальное дитя, наследный принц, подвергается таким-то и таким-то наказаниям, прочие, обыкновенные мальчики, и подавно потерпят. Для начала скажем, что дофин воспитывался с целым выводком побочных детей своего отца, прижитых от трех или четырех

матерей. Некоторые братья и сестры дофина были старше него, другие – моложе. К трем годам, если не ранее, дофин твердо усвоил, кто такие бастарды и откуда они берутся. Донося до маленького Луи сию важную информацию, придворные не стеснялись в выражениях, чем повергали дофина в шок. «Фи! – говорил он о своей гувернантке, мадам де Монтгле. – Как она распутна!»

Отец дофина, Генрих IV, был большим охотником до скабрёзных куплетов; придворные и лакеи знали их великое множество и распевали почти беспрестанно. Когда в пении случались передышки, то уже дофинова свита, в которую входили как мужчины, так и дамы, принималась вышучивать единокровных братцев и сестриц Луи, а заодно и его юную невесту, инфанту Анну Австрийскую. Сексуальное воспитание будущего короля включало, наряду с теорией, и практику. Нередко мальчик ночевал в постелях фрейлин (которые спали без ночных сорочек) либо с подругами, либо с супругами. К пятому году мальчик познал все «факты жизни», вдобавок эмпирическим путем. Да и мог ли дофин их не познать? Ведь во дворцах семнадцатого века нелепо было искать уединения. Коридоров пока не изобрели. Любой желавший попасть из одной части здания в другую шел через анфиладу покоев, в каковых покоях встречал самые разнообразные сцены. Не забудем и о дворцовом этикете, не щадившем ничьего стыда, но особенно суровом к королевским особам, ни одна из коих ни секунды не проводила в одино-

честве. Вот расплата за голубую кровь: рождаешься при свидетелях, при них же отходишь в лучший мир, при них отправляешь естественные надобности, при них предаешься плотским утехам. А буде найдется некто, не желающий наблюдать, – так против него само устройство дворца. Поневоле увидит сей скромник и роды, и смерть, и естественные отправления, и плотские утхи ближних. Похоже, этой избыточностью впечатлений объясняется будущая холодность Людовика XIII к женщинам, склонность к мужчинам (возможно, платоническая) и брезгливость к любым проявлениям физического несовершенства или хвори. Первые две особенности воспитали в нем мадам де Монтгле и прочие придворные дамы, что же касается третьей – как знать, на какие мерзости натыкался дофин в анфиладах Сен-Жермен-ан-Лэ?

Таков был мир, взрастивший Урбена Грандье. Сексуальные табу не стесняли невежественное, полунищее большинство, да и образованное меньшинство тоже, нельзя сказать, чтобы стесало под их гнетом. Герцогини отпускали шуточки в духе Джульеттиной кормилицы; беседа вельможных дам затмевала «Рассказ Батской ткачихи» грубостью и примитивностью. Человек со средствами и положением в обществе мог (если, конечно, не был чересчур брезглив ко грязи и вшам) удовлетворять свои сексуальные аппетиты буквально на ходу. Что касается религиозных запретов, то даже самые воспитанные, самые вдумчивые персонажи восприни-



мали их по большей части в переносном смысле, а между теорией и действиями, которых никто не скрывал, пролегла пропасть — хоть и поуже, чем в Средние века, но все-таки огромная. Продукт сего мира, Урбен Грандье вступил в свой новый приход с намерением истово служить Богу, не забывая о наслаждениях, сокрытых в сказанной пропасти. Любимым поэтом у него был Пьер Ронсар, и вот какие строки совершенно выражали жизненное кредо молодого кюре:

Коль отправимся во храм,  
Там уместно будет нам  
Преклонить колени строго, —  
Ниц упав пред алтарем,  
Дух в молитве вознесем,  
Восславляя имя Бога.

А в любви, меж простыней,  
Будем мы всего вольней,  
Меж утех постельной сласти, —  
Так гласит закон любви,  
Чтоб стыда не знали вы,  
Предаваясь пылкой страсти<sup>9</sup>.

Вот оно, описание «жизни без острых углов», которую вознамерился вести наш пышущий здоровьем гуманист. А как же духовный сан? Разве не задумана жизнь кюре таким

---

<sup>9</sup> Перевод Н. Сидемон-Эристави.

компасом с единственной стрелкой – но отнюдь не вертлявым флюгером? Разве священник не дает обетов, не знает строгих ограничений? О, конечно! Обеты Грандые дал – публично; ограничивать же себя не собирался. Позднее, через десять лет, он напишет небольшой трактат для единственной читательницы – трактат, посвященный целибату.

Против целибата Грандые выдвинул сразу два мощных аргумента. Вот суть первого: «Обещание исполнить неисполнимое не имеет силы. Молодому мужчине никак невозможно жить в воздержании телесном. Значит, ни одна клятва подобного рода не является руководством к действию». Не слишком убедительно? Извольте, вот второй аргумент, основанный на общепринятой максиме об обетах, данных под давлением. «Священник дает обет безбрачия не из склонности к таковому, а единственно с целью получить сан». Следовательно, обет самого Грандые «происходит не из его желания, но является навязанным ему Церковью, которая вынуждает его принять столь суровые условия, иначе не позволит вступить на поприще служения Богу». Иными словами, Грандые считал себя в полном праве жениться, а до тех пор – вести «жизнь без острых углов» с любой привлекательной женщиной, которая уступит его обаянию.

Для благонравных прихожанок склонности нового кюре стали ужасным открытием; однако большинство в Лудене было за прихожанками весьма бойкими, и даже тех из них, что дорожили своей добродетельностью, приятно будоражи-

ла перспектива завести интрижку с пастором вроде Урбена Грандые. Секс и религия смешиваются легко, не в пример воде и маслу; смесь получается пикантная, дегустация становится истинным откровением, то есть выявляет нечто сокровенное. Вопрос – что именно?

Уже одной только популярности Грандые у женщин было довольно, чтобы возбудить к нему неприязнь мужчин. Да-да: этот цветущий щеголь с изысканными манерами и хорошо подвешенным языком сразу не понравился мужьям и отцам прихожанок. Будь Грандые даже святым – по какому такому праву ему, чужаку, должен перепасть столь лакомый приход? Чем плохи местные юноши? Разве не логично, чтобы луденские десятины достались кому-нибудь из уроженцев Лудена? Мало того: чужак явился не один. Притащил с собой все семейство – и мамашу, и троих братцев, и сестрицу. Одному братцу мигом нашлась должность в городской магистратуре. Второй, тоже священник, стал главным викарием прихода. Наконец, третий, хоть пока и не пристроен, глядит стервятником. Уж будьте покойны – взгромоздится на первое освободившееся местечко при церкви. Нет, господа, как хотите, а это вторжение!

Впрочем, все недовольные признавали, что мессы отец Грандые служит вдохновенно, святые книги толкует без запинки, да и в науках являет себя докой. Но и собственные достоинства говорили против молодого кюре. Как человек изящный и начитанный, он с первых дней был принят в са-

мых аристократических семействах Лудена. Доступа туда не было ни нуворишам, ни чиновникам, ни невежам знатного происхождения. Ставили-то они себя высоко, однако до высшего общества недотягивали. А пришлый ловкач разом отворил заветные двери! Тем горше было отлученным узнать, что Грандье сошелся сперва с Жаном д'Арманьяком, только что назначенным правителем города и замка, а затем и с самым именитым луденцем, престарелым Сцеволой де Сен-Мартом, юрисконсультom и государственным деятелем, историком и поэтом. Д'Арманьяк весьма ценил способности и осмотрительность молодого кюре – до такой степени, что уполномочил Грандье вести его дела, пока сам заседал в суде. А Сен-Марту кюре отрекомендовался в том числе как гуманист, знакомый с классической литературой и способный оценить «Искусство кормления младенцев» – шедевр, написанный Сен-Мартом на латыни и столь популярный, что еще при жизни автора он выдержал минимум десять переизданий. Популярность не противоречила изысканности стиля, в связи с чем Ронсар признавался: «Я бы предпочел сочинителя сих виршей всем поэтам нашего времени и упорствовал бы в своих пристрастиях, а Бембо, Наваджеро и даже божественный Фракасторо пускай себе досадуют».

Увы, слава мирская преходяща, и тщетны человеческие потуги угнаться за нею! Мало кто нынче вспомнит самое имя кардинала Бембо, не говоря о его заслугах; в еще большем забвении пребывает Андреа Наваджеро, а божествен-

ный Фракасторо заслужил бессмертие исключительно потому, что придумал приличное название срамному недугу, на безупречной латыни написав о несчастном царевиче Сифилусе, который, после многих мучений, избавился от «французской болезни», употребляя настой смолы гваякового дерева. Все меньше людей владеют мертвыми языками; если у фракасторовской «Сифилиды» шансы остаться в веках более чем скромные, то у трехтомника Сен-Марта о кормлении младенцев их нет вовсе. Автор, которым зачитывались современники, которого называли божественнейшим – Сцевола де Сен-Март канул во тьму веков. Но в тот период, когда в Лудене появился Урбен Грандые, престарелого Сен-Марта еще не жили закатные лучи славы. Великий Старец, сам себе памятник; пользоваться его гостеприимством – все равно что обедать с собором Парижской Богоматери или за просто болтать с Пон-дю-Гаром<sup>10</sup>. В великолепном особняке, где покоил старость государственный деятель и почетный доктор гуманитарных наук, Урбена Грандые ждали беседы не только с хозяином, но с его достойными сыновьями и внуками. Да еще навевались сюда разные знаменитости: принц Уэльский (инкогнито), Теофраст Ренодо, неординарный врач, филантроп и отец французской журналистики; Исмаэль Буйо, будущий автор монументальной «Астро-

---

<sup>10</sup> Пон-дю-Гар – старейший во Франции акведук над рекой Гар, оставшийся со времен римлян.

номии Филолая»<sup>11</sup>, первым установивший период изменений блеска переменной звезды<sup>12</sup>. К названным интеллектуалам нередко присоединялись такие местные светочи, как луденский судебный пристав Гийом де Серизе и главный прокурор Луи Тренкан, человек набожный и образованный, одноклассник Абея де Сен-Марта, разделявший семейное увлечение литературой и стариной.

Дружба сих избранных умов практически полностью нивелировалась враждою, которую питали к Грандые лица, в тесный круг не попавшие. Глупцы платили ему недоверием за ум; неудачники завидовали его карьере. Грандые вызывал ненависть косноязычных своим красноречием, осуждение невеж – изысканными манерами. Те же, кого Господь обидел, не дав им привлекательной наружности, исходили злобой на Грандые за его успех у женщин. По всем статьям превосходивший мужское население Лудена, Грандые страдал за свои же совершенства! Правда, неприязнь была взаимной и со стороны Грандые не менее сильной, чем со стороны его врагов. Как известно, «проклятие закаляет, благословение расслабляет»<sup>13</sup>; слишком многие спешат довольствоваться скороспелыми плодами ненависти и гнева, вместо то-

---

<sup>11</sup> Филолай – древнегреческий ученый-пифагорец, защищавший теорию движения Земли.

<sup>12</sup> Имеется в виду двойная звезда Мира в созвездии Кита, состоящая из красного гиганта Мира А и белого карлика Мира Б. Период изменений блеска – 11 месяцев.

<sup>13</sup> Цитата из «Бракосочетания Рая и Ада» У. Блейка.

го чтобы дождаться плодов, нескоро вызревающих от любви к ближнему. Агрессивные от природы, эти люди становятся зависимы от адреналина; они намеренно подогревают в себе худшие страсти – так им невтерпёж получить «заряд» от собственной искусственно взбудораженной эндокринной системы. Отлично зная, что нарочитое самоутверждение неизбежно приведет к остракизму, они с каким-то сладострастием продолжают «нарываться». Удивительно ли, что в конце концов такие гордецы попадают в заваруху? Впрочем, заварухи им по нраву – ведь тогда их организмы вырабатывают максимум адреналина. Иными словами, заваруха – родная стихия гордеца, что вода для рыбы. Приятные ощущения на физиологическом уровне переносятся на самооценку: «коли мне хорошо, значит, я сам – хороший», рассуждает гордец. Зависимость от адреналина получает название «праведный гнев»; в итоге, подобно пророку Ионе, гордец совершенно уверяется и в собственной праведности.

Едва обосновавшись в Лудене, Грандье оказался замешан в целом ряде скандалов, которые поначалу казались ему весьма забавными. Например, один дворянин в прямом смысле направил на священника свой клинок. С лейтенантом полиции, главным стражем луденского порядка, Грандье спровоцировал публичный «обмен любезностями», который перерос в драку. Уступая противникам численно, Грандье с пономарем и алтарником забаррикадировались в часовне замка. Назавтра Грандье пожаловался в церковный суд.

Лейтенант получил выговор. Кюре победил – но какой ценой? Влиятельный горожанин, до сих пор испытывавший к нему всего-навсего беспочвенную неприязнь, теперь обрел для нее пресловутую почву. Грандье нажил смертельного врага, только и выжидавшего, когда подвернется случай по-квитаться.

Казалось бы, из одного только благоразумия, не говоря уже о принципах христианского учения, святому отцу следует искоренять ростки вражды; почему же Грандье, столько лет проучившийся у иезуитов, так и не приблизился к христианскому смирению? Почему не слушался советов д'Арманияка и остальных своих добрых друзей? Почему в тех случаях, когда речь шла о его страстях, Грандье был неспособен действовать осмотрительно? Да просто самолюбие кюре было таково, что даже длительная учеба в иезуитском коллеже не только не уничтожила, но и ничуть его не умалила. Напротив – сформировала для эго Урбена Грандье алиби, притом теологически обоснованное. Обычный, неученый эгоист ставит свои желания превыше всего, и точка. Но дайте эгоисту религиозное образование – и он уверится, что его желания есть воля Господня, и что, исполняя их, он служит Церкви, а любой компромисс – просто сговор с нечистым, дань Вселенскому Злу. Сказано в «Евангелии от Матфея»: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас»; впрочем, слова Христа лишь провоцируют таких персонажей, как Грандье, пойти на сделку с Вельзевулом. Кюре и не думал



мириться с врагами – какое там! Напротив, он в совершенстве владел искусством всячески подогревать ненависть к своей особе.

Известно о добрых феях, что посещают привилегированных младенцев. Известно также, что нередко золотое сияние скрывает фею злую, навьюченную подарками – но самые желанные из них подчас таят погибель (правда, отложенную до поры до времени). В случае с Урбеном Грандье фея особенно расщедрилась, наделив дитя, помимо прочих, самым ослепительным и самым опасным из даров – даром красноречия. Слово в устах хорошего актера – каковым является каждый выдающийся проповедник, успешный адвокат и политик, – обладает силой почти волшебной. Иррациональной природой этой силы объясняется тот факт, что оратор, имея он хоть самые благие намерения, обычно творит более зла, нежели добра. Когда оратор, посредством одной только магии слов и сладостного голоса, убеждает аудиторию в правомерности того или иного злодеяния, мы испытываем вполне объяснимый шок. Нам бы следовало настораживаться и в случаях, когда те же трюки используются для убеждения аудитории в необходимости деяния доброго! Пусть впечатление и нужное – методы его достижения, по сути, опасные, а значит, даже оратор, своим талантом дающий правильные установки, – виновен: он задевает те струны человеческой натуры, из которых проще всего извлечь звук. Совершенствуясь в красноречии, оратор усугубляет квазигипнотиче-

ский транс, в котором и так всю жизнь живет большинство людей, и цель истинной философии, истинно духовной религии – избавление от этого транса. Вдобавок эффектная речь не получится без упрощения. А упрощение невозможно без искажения фактов. Вывод: всякий успешный оратор, пусть даже силящийся говорить только правду, – лжец. Стоит ли добавлять, что самые успешные ораторы к правде вовсе и не стремятся? Их цель – вызвать симпатию к своим союзникам и антипатию – к оппонентам. Грандье, увы, был как раз таков. Воскресенье за воскресеньем с кафедры выдавал он блестящие подражания Иеремие и Иезекиилю, Демосфену, Савонароле и даже Рабле – ибо не уступал сим достойным мужам ни в язвительности, ни в праведном негодовании, ни в призывании на грешные головы громов Апокалипсиса.

Природа не терпит пустоты, в том числе – пустоты ума. Сегодня недуг, называемый скукой, врачуют (параллельно выводя его в новые фазы) кинематограф и радио, телевидение и комиксы. Нашим предкам повезло больше, а может, и меньше – их скуку развеивали одни только еженедельные проповеди, да еще случалось послушать заезжего капуцина или странствующего иезуита. Проповедовать – тоже искусство; как в любом другом искусстве, дурные исполнители многократно превосходят числом исполнителей хороших. К услугам сен-пьерской паствы был преподобный Грандье – виртуоз, умевший затронуть любую тему, от христианских таинств до пикантнейших городских событий. О, как изящ-

но он клеймил, как смело обличал даже и власть имущих! Паства, истерзанная хронической скукой, не скупилась на восторги – которые, разумеется, лишь сильнее бесили жертв пасторского красноречия.

Среди них были монахи целого ряда орденов, обосновавшиеся в некогда протестантском Лудене после прекращения открытой вражды гугенотов и католиков. Грандье недолюбливал монахов, поскольку сам служил в миру. Так добрый солдат предан своему полку, выпускник – своей alma mater, коммунист или нацист – своей партии. Верность организации А всегда предполагает известную степень подозрительности, презрения или ненависти к организациям В, С, D и далее по списку. Это справедливо и для структур, составляющих одно целое, координируемое высшим руководителем. История религии являет нам массу примеров, целую шкалу негативных эмоций по отношению к своим же, казалось бы, союзникам. Здесь и одна на всех ненависть к еретикам и отступникам – и вражда орденов, школ, епархий, конкретных теологов.

«Благочестивые прелаты сотворили бы великое добро, – писал святой Франциск Сальский в 1612 году, – если бы сумели помирить Сорбонну с отцами-иезуитами. Объединись во Франции епископы, Сорбонна и монашеские ордена – и со всякой ересью было бы покончено в десять лет» (т. XV, с. 188). Почему? Объяснение святой дает на другой странице: «Кто проповедует с любовью – уже борется против ере-

си, пусть даже не хулит ее на словах и вовсе не упоминает» (т. VI, с. 309). Но какая может быть любовь, если Церковь оскверняют междоусобицы? Даже само это слово в устах проповедника, отравленного ненавистью, звучит лицемерно! Увы, союза никак не получалось, вместо любви были теологические разногласия, да еще и агрессивная приверженность своей касте, школе, ордену. К вражде иезуитов с Сорбонной вскоре добавилась вражда янсенистов с альянсом, который создали и иезуиты, и салезианцы. Потом началась затяжная борьба с квиетистами и последователями «чистой любви». С религиозными распрями во Франции так справились – только влияние возымели не благостные убеждения, а монархии указы. Несогласных, сиречь еретиков, ждали драгонады<sup>14</sup>, а затем – и отмена Нантского эдикта<sup>15</sup>. Упорствующим светили папские буллы и анафема. Порядок был восстановлен – но методами самыми отвратительными, без намека на духовность, набожность или гуманность.

Раздробленность катастрофична для общества, но отдельные индивидуумы могут настричь с нее изрядно купонов –

---

<sup>14</sup> От слова «драгун». Принудительный постой войск в домах гугенотов с целью заставить их перейти в католичество. Применялся правительством Людовика XIV с 1681 по 1685 год, имел результатом разорение провинций и массовую иммиграцию гугенотов, в т. ч. – купцов и квалифицированных ремесленников, в Англию, Данию, Швецию, Голландию, Россию, Америку, Пруссию. Крайне неблагоприятно сказался на французской экономике.

<sup>15</sup> Нантский эдикт (утвержден Генрихом IV Бурбоном в 1598 году) давал подданным право свободы вероисповедания. Отменен Людовиком XIV в 1685 году «по той причине, что все достойные гугеноты приняли католическую веру».

даже больше, чем с игры на таких человеческих пороках, как похоть и жажда наживы. Обычным сводням и ростовщикам сложновато гордиться своими занятиями; но сводни и ростовщики от политики одновременно и гордятся и получают выгоду. Еще бы: они же действуют ради группы, по определению положительной; группы, чьи интересы священны. У них есть повод для самолюбования – и для презрения к ближним. Есть и возможность добиться власти и богатства, посмаковать праведный гнев и даже жестокость. Причем чувство вины их не преследует; наоборот, они упиваются собственной добродетелью. Ибо политическая ангажированность чудесным образом превращает сии приятные пороки в проявления истинного героизма. Ангажированные считают себя отнюдь не грешниками, не преступниками – но альтруистами и борцами за идеалы. В определенном смысле так оно и есть. С одной поправкой: альтруизм на самом деле – чистой воды самовлюбленность, а что до идеалов, на которые и жизнь положить не жалко, так они есть реализация интересов соответствующей группировки.

Уж конечно, Грандые клеймил луденских монахов с искренним пылом, с уверенностью, что угрожает сим деянием Господу. Ведь Господь всегда на стороне светского духовенства и добрых друзей Грандые – отцов- иезуитов. А всякие там кармелиты с капуцинами пускай сидят по своим монастырям; ну, в крайнем случае, проповедуют в глухих деревушках. Нечего им соваться в приличные города. Сам Гос-

подъ так повелел: богатые и уважаемые граждане да будут окормляемы светским духовенством, а содействуют светскому духовенству пускай отцы-иезуиты. Вот почему молодой кюре поспешил провозгласить с кафедры: истинно верующим отныне следует исповедоваться ему, и только ему; никаких пришлых священников! Среди исповедующихся большинство составляли женщины; заявление Грандье их только обрадовало. Куда как приятно иметь на исповеди дело с франтоватым, надушенным молодым красавцем, вдобавок с благородными манерами – а не с оборванцем-капуцином или кармелитом. Так в одночасье последние лишились практически всех своих щедрых кающихся, а следовательно, и влияния в Лудене. Грандье же пошел дальше – разразился серией нелестных тирад о главном источнике кармелитского дохода. Я имею в виду чудотворную Мадонну-Покровительницу. В прежние времена целый луденский квартал был застроен гостиницами и пансионами, где останавливались паломники, явившиеся помолиться перед этой святыней о здравии мужа либо наследника, а то и просто об удаче. Теперь конкуренцию Мадонне-Покровительнице составила Пиета из города Сомюра – небольшая скульптура, чудесным образом спасенная из древнего монастыря, который разорили норманны, и обнаруженная в пещере. От Лудена до Сомюра, к слову – считанные лье. Подобно тому, как существует мода на методы лечения и дамские шляпки, существует и мода на святыни. Каждая крупная конфессия имеет историю

чудотворных икон или скульптур, а также всяческих мощей, неведомо как обретенных и поставивших под сомнение чудотворность прежних реликвий. Их, в свою очередь, неизбежно потеснят новые предметы поклонения. Почему вдруг Пиета стала гораздо популярнее Мадонны-Покровительницы? Причин наверняка много, и одна из них – в том, что Пиета была в ведении ораторианцев. Как отмечает Обен, первый биограф Грандье, «всему свету ведомо, что отцы-ораторианцы – люди влиятельные и хитростью превосходящие даже кармелитов». Я же добавлю: ораторианцы служили в миру. Возможно, именно этим объясняется скептицизм Урбена Грандье к чудотворным способностям Мадонны-Покровительницы. Грандье просто защищал интересы «своих» – то есть мирского духовенства; для того и дискредитировал монашеские ордена. Мадонна-Покровительница и сама была бы со временем предана забвению – даже если бы Грандье вовсе не появился в Лудене. Но кармелиты более выгодным для себя почитали другое мнение. Действительно, рассуждать о событиях реалистично, рассматривать их с разных сторон – тяжкий и неблагодарный труд. Куда как удобнее приписывать определенный результат одному-единственному случаю, а по возможности, и одному-единственному человеку. В благополучные времена общественное сознание с удовольствием назначает героя, а во времена лихие (едва ли не с большим удовольствием) – козла отпущения.

Итак, покамест враги Грандье были мелкой сошкой; но

святой отец быстро приплюсовал к ним фигуру, способную причинить ему неизмеримо больший вред. В самом начале 1618 года, на соборе, где присутствовали все служители из окрестностей Лудена, Грандье оступился, притом фатально. Прелатам надлежало прошествовать по луденским улицам, так вот, Грандье весьма неучтиво выговорил себе место в процессии впереди некоего приора города Куссе. Чисто технически Грандье имел на это право – процессия начинала путь от церкви Святого Креста, и Грандье, как настоятелю, и впрямь следовало идти перед приором. Всё бы ладно, не будь приор заодно и епископом; учтивость «принимающей стороны», равно как и осмотрительность, тоже никто не отменял. Оказалось, что приор Куссе и епископ Люсонский – один и тот же персонаж, а зовут его Арман-Жан дю Плесси де Ришелье.

На тот момент Ришелье был в опале (кстати, дополнительный повод обходиться с ним, являя великодушие и учтивость). В 1617 году казнили покровителя Ришелье, итальянского временщика Кончини. Государственный переворот совершил Люинь с одобрения юного короля, Людовика XIII. Ришелье, как пособник королевы-матери, был удален от двора. Но с чего, спрашивается, Урбен Грандье взял, что опала станет пожизненной? Не было у него ни единой причины так думать! Уже через год, после краткой ссылки в Авиньон, епископ Люсонский вновь призван в Париж. К 1622 году он – первый королевский министр и кардинал.



Получается, Грандье из одного только самолюбия (и самолюбования) оскорбил будущего полно- властного правителя Франции. О, как пожалеет великолепный кюре о своей неучтивости! Но это будет позднее. Пока же он совсем по-детски торжествует минутную победу. Еще бы: скромный глава прихода, Грандье попрали гордость фаворита самой Марии Медичи; епископа; аристократа, наконец! Так веселиться мог бы малолетний школяр, показавший наставнику нос и избегший порки.

Сам Ришелье, уже в зрелых годах, аналогичное удовольствие получал, обходясь с принцами крови точь-в-точь так, как с ним обошелся Урбен Грандье. «Подумать только, – говорил его престарелый дядюшка, наблюдая сцену в дверях между кардиналом и герцогом Савойским, – подумать только, Господь сподобил меня дожить до сих времен, увидеть, как внук стряпчего Ла Порте<sup>16</sup> входит в покои прежде, чем внук Карла V!» Получается, даже кардиналы порой ведут себя как шкодливые мальчишки.

Иными словами, линия судьбы Урбена Грандье с того дня определилась. Кюре исполнял свои приходские обязанности, в перерывах развлекался с миловидными вдовушками, тешился беседами в домах своих друзей-интеллектуалов и пикировался с врагами, число коих все росло. Такая жизнь бы-

---

<sup>16</sup> Ла Порте – девичья фамилия матери кардинала Ришелье. Ее отец, дед Ришелье, не принадлежал к аристократии. Дворянство было ему пожаловано за выслугу лет – он был адвокатом Парижского парламента.

ла как раз во вкусе юре. Кипенье разума и приятная щекотка чувств, активная работа гонад и регулярные всплески адреналина, лестное мнение об отце Грандье как среди ученых мужей, так и среди очаровательных дам... Нет, Судьба пока не явила Урбену ни одного из своих зловещих знаков. Юре воображал, что платить за удовольствия не придется, что можно желать безнаказанно и ненавидеть сколько влезет. Он не знал, что счет его выходкам уже открыт строгою Судьбой. Ничто не тяготило Урбена Грандье, но окошко, сквозь которое душа взирает на мир (оно же – совесть), суживалось и подергивалось мраком, а сердце черствело. По тогдашней классификации, Грандье считался сангвиником с чертами холерика; таким персонажам не свойственно проникать скорые негативные изменения в мире. Грандье и не проникал. Всё, полагал он, хорошо и правильно; Господь – с ним. Юре наслаждался жизнью. Или, точнее – если учесть частую смену его настроения – пребывал в маниакальной фазе.

\* \* \*

Весной 1623 года скончался прославленный старец Сцевола де Сен-Март. Похоронили его с большими почестями в церкви Сен-Пьер-дю-Марше. Полгода спустя, на поминальной службе, в присутствии всех достойных жителей Лудена, Шательро, Шинона и Пуатье, Грандье заговорил о достоинствах покойного. Речь получилась длинная и великолепная,

как раз в духе религиозного гуманизма (который тогда еще не успел устареть, ибо первое издание стилистически революционных писем Бальзака появится лишь через год). Продуманные фразы блистали цитатами из классической литературы и Библии, эрудиция лезла из всех щелей, каждое повышение тона было громоподобно и несло свою смысловую нагрузку. На уши любителей подобного красноречия (а кто его не любил в 1623 году?) речь Грандье пролилась сладостным бальзамом. Пастору рукоплескали. Абель де Сен-Март был настолько тронут, что разразился эпиграммой на латыни, которую даже опубликовал. Не менее лестны оказались вирши прокурора месье Тренкана, написанные на родном языке:

Знать, совсем не без резону  
Сам Господь сию персону  
Дивным даром награждал.  
Я б велел за сей особой  
Титул закрепить особый —  
«Красноречия фиал».  
По своей и Божьей воле  
Вознося хвалу Сцеволе,  
Он образчик вдохновенья  
И правдивости являл!<sup>17</sup>

Бедный месье Тренкан! Его любовь к музам была искрен-

---

<sup>17</sup> Здесь и далее, если не указано иначе, перевод стихов Ю. Фокиной.

на – и безнадежна. Как нетрудно заметить из приведенных строк, музы не отвечали взаимностью луденскому прокурору. Впрочем, судить о поэзии он мог вполне толково. После 1623 года прокурорская гостиная стала центром интеллектуальной жизни. Увы, со смертью Сцеволы де Сен-Марта все как-то заглохло в Лудене. Сам месье Тренкан был человек начитанный – чего нельзя сказать о большинстве его друзей и родственников. Исключенные из Сен-Мартова кружка, они пользовались правом проводить время в доме прокурора. К сожалению, стоило им войти в дверь, как интеллектуальная атмосфера улетучивалась через окно. Да и могло ли быть иначе среди вечно квохтавших кумушек, среди чиновников, обсуждавших постановления и процедуры, среди завязтых собачников да лошадников, понаехавших из деревень? Да, еще ведь были аптекарь мэтр Адам и врач мэтр Маннори – первый с длинным носом, второй – с круглой, как луна, физиономией и животом, подобным бочке. Напустив на себя важность, более подобающую преподавателям Сорбонны, сии почтенные мужи рассуждали о пользе сурьмы и кровопускания, о ценности мыла в клистирах и эффективности прижиганий при огнестрельных ранениях. Вдоволь подискутировав, они понижали голоса и принимались сплетничать: о сифилисе у маркиза, о втором выкидыше у супруги королевского советника, о бледной немочи, которой страдает юная племянница бейлифа. Абсурдные вещи высказывали оба ученых мужа с претензией на истину в последней ин-

станции, напыщены были до гротеска – неудивительно, что прочие обитатели гостиной ждали их дискуссии, как забавного представления. Им задавали каверзные вопросы, чтобы посмеяться над нелепыми ответами, и больше всех изощрялся Урбен Грандье. Человек остроумный, язвительный и безжалостный к глупцам, он заходил слишком далеко. Разумеется, кюре вполне удавалось разоблачить невежество обоих бездарей от медицины. И, разумеется, оба вскоре прибавились к числу его врагов.

Медленно, но верно наживал Грандье и еще одного врага. Я говорю о прокуроре. Он был вдовец с двумя дочерьми на выданье. Старшая, по имени Филиппа, отличалась столь нежной прелестью, что кюре все чаще останавливал на ней полный вожеления взор. Шла зима 1623 года. Любуясь Филиппой де Тренкан, грациозно обходящей отцовских гостей, Урбен Грандье мысленно сравнивал ее с молодой вдовой виноторговца, которую утешал по вторникам, после обеда. Нинон (так звали вдову) была женщина малообразованная – она едва умела расписываться. Зато под собольим мехом ее траурной накидки скрывалась упругая плоть, лишь самую малость тронутая неминуемым увяданием. Здесь пастора поджидали истинные сокровища жаркой белизны; здесь было хранилище неутолимой чувственности – буйной и жадной до новых ощущений, бешеной и в то же время податливой. Хвала Господу, Нинон не страдала жеманством – Грандье удачно избежал утомительных ухаживаний, этих грозящих затя-

нуться платонических прелюдий и клятв в духе Петрарки. Уже при третьей встрече кюре решился прочесть вдовушке начало одного из своих любимых стихотворений:

Весталки страстной идеал  
В ночной тиши я обнимал;  
Увы: доселе пыл,  
Из нег и ласк девятый вал  
Лишь в грезах явлен был.

Нинон не запротестовала, а лишь хихикнула с неотразимой искренностью и стрельнула на кюре лукавым глазом. Завершая пятый визит, Грандье осмелел до второй цитаты из Жака Тагюро:

Adieu, прелестная, adieu!  
Прощай, о тайный друг!  
Мне шею не забыть твою,  
Белей не встретить рук.  
Мне персей не сыскать круглей  
И шелковистее кудрей.  
Adieu! Разлука пролегла  
Меж нами длительна и зла —  
Скорей же промельком бедра,  
Блаженной пенностью ног  
Определи ее итог.

«Adieu», то есть «прощай» — это в смысле «до послезав-

тра», когда вдове надлежало явиться к еженедельной исповеди (Грандье был крайне педантичен относительно еженедельных исповедей и никого не отпускал без епитимьи). А между исповедью и заветным вторником он собирался прочесть проповедь – нечто вроде возвышенной оды в честь большого праздника – Очищения Девы Марии. Поистине, с самых поминок Сцеволы де Сен-Марта не писал Урбен Грандье ничего столь же шедеврального. Что за стиль, что за эрудиция; а как изящно опирается красноречие на теологические догмы! Кюре сорвал целый шквал аплодисментов и поздравлений. Лейтенант полиции клекотал от бешенства, монахи позеленели от зависти. «Господин кюре, вы превзошли самого себя. Ваше Высокопреподобие, вам нет равных», и все в таком духе. К вдове Урбен Грандье явился в сиянии славы; вместо лаврового венка вдова возложила на него кольцо своих пухлых ручек, осыпала поцелуями и ласками, и кюре догадался: он теперь божество, и чем не Рай – объятия Нинон? Пусть кармелиты талдычат об экстазах, небесном прикосновении, какой-то особой благодати и божественном браке. У Грандье отныне была Нинон, и ему этого хватало.

Впрочем, заглядываясь на Филиппу, Грандье все чаще задавался вопросом: а хватает ли ему Нинон? Разумеется, вдовушки умеют утешить; по этой причине он, Грандье, от своих вторников не откажется; но вдовушки по определению не девственны! Они многоопытны и вдобавок имеют тенденцию толстеть. В то время как у Филиппы руки еще

по-детски тонки, груди подобны паре яблочек, а шея, пусть юная, гладка, будто мраморная колонна. И как восхитительно это сочетание девичьей грации и подростковой угловатости! Как трогательны эти переходы от почти отчаянного кокетства к внезапной панике – и как они, переходы, возбуждают, как пьянят! Филиппа словно играла роль Клеопатры, всякого встречного приглашая стать своим Антонием. Увлекалась, переигрывала, а стоило кандидату явить признаки согласия, как царица Египетская уступала место перепуганному ребенку, молящему о снисхождении. Но вот снисхождение получено – волнующая Сирена вновь берется обольщать, жонглировать запретными плодами с бесстыдством, на какое способны лишь безнадежно развратные либо совершенно невинные создания. Невинность, чистота! Какую проповедь Грандье построил на этих понятиях, как сыграл на щекотливейшей из тем! Дамы обрыдались, внимая модуляциям его несравненного голоса – то громоподобного, то шелестящего, как ласковый шепот. О, Грандье со своей кафедры пронял и мужчин. Упоминания о росистых лилеях, умирительных ягнятках и младенцах никого не оставило равнодушным. И да – монахи снова позеленели. Но что бывает с настоящими, живыми лилеями, ягнятками и младенцами? Лилеи вянут; овечки обречены сначала ублажать похотливых баранов, а затем отправляться под нож; а в Аду, как известно, проклятые ходят по дорогам, вымощенным трупиками некрещеных младенцев. С самого Грехопадения совер-



шенная невинность уподоблена, из практических соображений, совершенной развращенности. В каждой юной девице скрыта многоопытнейшая из вдов. Не забудем и о первородном грехе – из-за него потенциальная греховность более чем вполнину актуализирована. Довершить процесс актуализации, пронаблюдать, как девственный бутон расцветет пышным, даже махровым, цветом – вот наслаждение не только для плоти, но и для ума, для характера. Если тут и замешана чувственность, то чувственность метафизическая, возвышенная.

Вдобавок юность и непорочность – не единственные привлекательные черты Филиппы. Девушка происходит из благородной семьи, получила прекрасное воспитание и вообще полна достоинств. Она хороша, как картинка, при этом знает катехизис наизусть; играет на лютне и регулярно ходит к мессе; обладает манерами знатной дамы и любит читать. Такая добыча пощекочет самолюбие ловца и надолго лишит сна его завистников.

В аристократических кругах (если верить Бюсси-Рабютену, творившему несколько позднее), «победа над женщиной приносила мужчине столько же славы, сколько и ратный подвиг». Обольстить признанную красавицу считалось ничуть не менее престижно, чем покорить провинцию. Марсийак, Немюр и шевалье де Граммон за свои будуарные триумфы стяжали славу, эквивалентную славе Густава II Адольфа, по прозвищу «Лев Севера», и Альбрехта фон Валленштейна;

правда, слава увяла одновременно с этими персонажами, а не осталась в веках, подобно славе короля и его полководца. На жаргоне тех лет, мужчина «пришвартовывался» не к первой попавшейся, а к обдуманно избранной даме с целью занять в обществе более высокое положение. Секс годится как для самоутверждения, так и для самосовершенствования. Иными словами, можно либо усилить свое эго и подняться среди себе подобных, либо забыться в экстазе, сгинути как личность в содроганиях чувственных восторгов, а то и принести двойную, взаимную жертву, как свойственно влюбленным супругам. Что касается нашего кюре, с молоденькими пейзажками и вдовушками, принадлежавшими к среднему классу, он насодрогался вдоволь, ибо партнерши его, имея минимум предрассудков, обладали завидным сексуальным аппетитом. Но с Филиппой Тренкан святому отцу представился случай как раз самоутвердиться, притом с приятностью; Грандье рассчитывал на истинную трансформацию, на чувственную метаморфозу.

Дивная мечта! Только как ее осуществить? Препятствие казалось непреодолимым, ведь Филиппа была дочерью Луи Тренкана, а Луи Тренкан – лучшим другом Грандье и самым надежным его союзником в кознях против монахов, лейтенанта и прочих врагов. Луи Тренкан доверял святому отцу – настолько, что практически заставил обеих дочерей переметнуться к Грандье от прежнего духовника. Кстати, не будет ли месье кюре столь любезен, не согласится ли время от

времени наставлять Филиппу и Франсуазу в дочерней любви и девической скромности? Как по мнению святого отца – Гийом Роже недостаточно хорош для старшенькой, но вполне сгодится для младшенькой? Не обручить ли Франсуазу с Гийомом? А Филиппа пусть совершенствуется в латыни. Не выкроит ли святой отец время для занятий с нею? Короче, обмануть подобное доверие было бы чернейшей неблагодарностью. С другой стороны, сама возмутительность подобного поступка уже говорила в его пользу – ибо на всех уровнях человеческого бытия, от физиологии и чувственности до морали и интеллекта, каждое намерение неизбежно генерирует собственную противоположность. Например, мы смотрим на красное – но благодаря особенностям цветового восприятия расположенная рядом зелень кажется нам более интенсивной, а в определенных случаях нам даже видится зеленый ореол вокруг красного объекта и зеленое остаточное изображение после того, как красный объект от нас удален. При любом телесном движении, наряду с группой мышц, для него необходимых, задействуются и мышцы, казалось бы, противоположного назначения. Этот же принцип справедлив и для уровня более высокого, чем телесный – для человеческого сознания. На каждое «да» есть свое «нет». По Теннисону, «в искреннем сомнении больше веры, чем в истовости». А по Сэмюэлу Батлеру (в правоте которого мы еще не раз убедимся на протяжении нашего повествования), в искренней вере больше сомнений, чем во всех пропагандистских выступлениях.

ниях Чарлза Брэдлоу и во всех учебниках марксизма. Для воспитателя, наставника эти особенности восприятия – отдельная серьезная проблема. Если к каждому «да» прилагается «нет», как привить питомцу правильный взгляд на вещи без того, чтобы подспудно не посеять в юной душе зерна протеста? Конечно, существуют способы обойти восприятие; но их сомнительная эффективность подтверждается многочисленными упрямыми и «трудными» детьми; молодежью, вечно выражающей протест, и, естественно, взрослыми развратниками и антиномистами. Даже самые уравновешенные люди, отлично себя контролирующие, порой чувствуют необъяснимое искушение поступить совсем не так, как полагается. Очень часто это искушение связано с сотворением зла, причем безо всякой причины, безо всякой выгоды. Иными словами – ничем не оправданный бунт против здравого смысла и общепринятых правил поведения. Обычно подобные порывы душатся в зародыше; обычно, но не всегда. То и дело рассудительные и благовоспитанные граждане сбиваются с пути; занятно, что при других обстоятельствах они сами первыми и осудили бы такие проступки. Кажется, что такой человек одержим посторонней, злобной сущностью, что действует не по собственной воле. На самом деле, он – жертва нейтрального механизма, который (как это свойственно механизмам) перенастроился и стал управлять своим хозяином, вместо того чтобы служить ему.

Итак, Филиппа на редкость хороша собой; «когда в кро-

ви огонь, сгорают клятвы, как солома»<sup>18</sup>. Но, помимо огня в крови, существуют противоречия ума. Тренкан – лучший друг Грандые. Одна только мысль, что соращение дочери друга – поступок чудовищный, воспалила в Грандые извращенное желание – предать Тренкана. Священнику бы направить усилия на подавление своей прихоти – а он стал изыскивать причины для ее удовлетворения. Уверял себя, например, что Тренкан, имея столь очаровательную дочь, должен быть настороже, не доверять свое сокровище кому попало. А если доверяет, если хлопает ушами – что ж, Грандые его проучит. Латынь, ха-ха! Да ведь это повторяется история Элоизы и Абеяра с прокурором в роли дядюшки Фульбера! Догадался – открыл двери соблазнителью! Недоставало только одного – розог; Абеяра, Элоизин наставник, ими пользовался. Впрочем, Грандые подозревал: заикнись он о розгах, глупец Тренкан, пожалуй, даст добро...

Время шло. По вторникам вдова виноторговца получала свою долю плотских усад, но почти во все остальные дни Грандые можно было обнаружить в прокурорском доме. Франсуазу выдали замуж, но Филиппа оставалась при отце и делала удивительные успехи в изучении латыни.

Omne adeo genus in terris hominumque ferarumque  
et genus aequoreum, pecudes pictaeque volucres,

---

<sup>18</sup> Цитата из «Бури» У. Шекспира.

in furias, ignemque ruunt; amor omnibus idem<sup>19</sup>.

В том числе растения – им тоже не чужда нежная страсть:

Nutant ad mutua palmae  
foedera, populeo suspirat populus ictu,  
et platani platanis, alnoque assibilat alnus<sup>20</sup>.

Филиппа прилежно переводила для своего наставника самые сладострастные поэтические строки и самые скабрёзные эпизоды из мифологии. С самоотречением (реальным благодаря пылкости Нинон) кюре избегал посягательств на девичью честь своей ученицы. Ни разу не допустил он ни жеста, ни слова, могущего быть истолкованным Филиппой как признание в любви или непристойное предложение. Нет, Грандье являлся Филиппе обаятельным и интересным собеседником; два-три раза в неделю не забывал сообщить, что она – самая умная из всех дам, когда-либо им встреченных; а порой бросал на нее взгляды, от которых Филиппа вспыхивала и опускала глаза. Со стороны казалось, Грандье теряет время; впрочем, если и так – то все равно с приятностью. К счастью, у кюре была Нинон; и, хвала Господу, девица не умела читать мысли своего наставника.

---

<sup>19</sup> Все земные создания покорны любви – и водные твари, и скот, и пестрые птицы, и звери. Любовь объемлет всё и вся. – *Прим. авт.*

<sup>20</sup> В унисон клонятся под ветром пальмы, в унисон дышат тополя, а с ними и платаны, и ольха шепчется с другой ольхой. – *Прим. авт.*

Сидя в одной комнате, ученица и учитель находились в разных вселенных. Филиппа, уже не дитя, но еще не женщина, обитала в некоем подобии чистилища, которое проходит всякое существо женского пола на пути от невинности к опытности. В «чистилище» этом доминируют все оттенки розового, а населяют его фантазии. О, Филиппа пребывала не в Лудене, со старыми хрычами и старыми гримзами – но в собственном Элизиуме, в благоуханных кущах, сулящих этакой небесной плоти такие божественные восторги. Божественные, сказали мы; а кто же бог? Разумеется, у него темные глаза, тонкие, подкрученные усики и белые, ухоженные руки. О, эти руки! Они особенно будоражили пробуждающуюся сексуальность юной Филиппы. Ее наставник, как и положено богу, казался всезнающим; подобно архангелу, был столь же мудр, сколь и прекрасен, и столь же добр, сколь мудр. Вдобавок он и ее, свое творение, считал умной; нахваливал ее прилежание, да еще ТАК смотрел, что... Неужели он?.. Возможно ли? Нет, нет, даже помышлять о таком – святотатство и грех. Исповедаться? Но ведь он – заодно и исповедник; значит, никак нельзя...

Филиппа вперила взор в латинскую фразу.

*Turpe senex miles, turpe senilis amor*<sup>21</sup>.

И тут ее охватила истома неистовой, но непонятной природы. Грезы зарождающейся чувственности вдруг стали ас-

---

<sup>21</sup> Жалкое зрелище – старый солдат; безобразное явление – старческая любовь. – *Прим. авт.*

социироваться именно с этими всевидящими очами, с этими белыми, даром что волосатыми, руками. Текст на странице поплыл, Филиппа смутилась и наконец вымучила перевод: «Мерзкий старый вояка». Грандые шлепнул ее линейкой по костяшкам пальцев и выразился в том смысле, что мадемуазель Тренкан повезло родиться девицей, иначе он наказал бы ее куда суровее. При этих словах Грандые изобразил неопределенное движение линейкой. Гораздо, гораздо суровее, мадемуазель! Филиппа взглянула на него – и поспешно отвернулась. Щеки ее запылали.

Сестра Франсуаза, успевшая вкусить прозы замужества и разочароваться, регулярно приносила Филиппе вести с супружеского фронта. Филиппа внимала – а про себя думала: уж у нее-то все будет иначе! Она по-прежнему предавалась мечтаниям, которые с каждым разом детализировались. То Филиппа видела себя экономкой в пасторском доме. То воображала, что Грандые получил сан епископа Пуатевинского и велел прорыть подземный ход между епископским дворцом и загородной виллой Тренканов. Или Филиппе досталось наследство в сто тысяч крон, и они с Грандые живут-поживают, проводят время то при дворе, то в своем поместье.

Увы: всякий раз девицу пробуждало от грез одно и то же соображение: она – Филиппа Тренкан, а он – месье кюре; если даже он ее и любит (чему нет никаких доказательств), он не вправе говорить об этом; если же он вдруг заговорит – Филиппа просто обязана будет заткнуть уши. Но пока...



пока она счастлива, ведь за шитьем, за книгой, за пальцами она вольна мечтать о несбыточном! Стук в дверь, звуки его шагов, его голос наполняют ее томным восторгом. Мучительное блаженство, райская пытка – сидеть рядом с Грандье в отцовской библиотеке и переводить Овидия, нарочно делая ошибки – только чтобы милые уста исторгли угрозу наказания розгой; внимать сочному, звучному голосу, рассуждающему о кардинале, о непокорных протестантах, о войне в Германии, о взглядах иезуитов на предваряющую благодать, о перспективах получить повышение. Ах, если бы так продолжалось вечно! Но молиться об этом – все равно что жаждать вечной вечерней зари, иными словами – растянутого на всю жизнь увядания. Финальная строфа мадригала потрясает изысканностью, вечерний свет преображает реальность – но, как ни крути, и то и другое – конец, и нельзя ведь поклоняться КОНЦУ! Словом, Филиппа подсознательно понимала, что сама с собой лукавит; но в течение нескольких блаженных недель она, задвинув подальше здравый смысл, была способна уверить себя, что достигла Рая и дальше не двинется. Будто сомкнулся провал между фантазией и реальностью, слились воедино жизнь Филиппы и ее мечты. Последние больше не отрицали фактов, а факты сами уподобились грезам. Блаженство было полное – притом безгрешное, ибо происходило не от внешних событий, а существовало исключительно в девичьей душе. Наверно, так счастливы души праведников на Небесах. Филиппа отдалась блаженству

без остатка, погрузилась в него, не страшась ни высшего гнева, ни угрызений совести. Но Филиппа слишком увлеклась. Блаженство буквально лилось через край. Однажды девушка не выдержала и заговорила о своих чувствах на исповеди – как ей казалось, очень осторожно, без намеков, уверенная: исповедник не догадается, что сам же и вызвал такую бурю.

Исповеди стали следовать одна за другой. Кюре внимал, задавал вопросы, убеждавшие Филиппу в его полном неведении, в том, что ее невинная хитрость удалась. Филиппа осмелела. Теперь она излагала кюре даже самые интимные детали. Ее счастье было безгранично, представлялось вечным экстазом, утонченным трепетом нервов, который Филиппа вызывала по своей воле, и ощущения не притуплялись, не могли притупиться, даже повторяемые вечно. А потом настал день, когда Филиппа оговорила – вместо «он» сказала «вы». Опомнилась, попыталась исправить ошибку, сконфузилась, от расспросов кюре залилась слезами и во всем созналась.

«Наконец-то! – поздравил себя Грандье. – Наконец-то!»

Дальше все было делом техники. Тщательно подобранные слова и жесты, разнообразные формы нежности – от той, что пристала священнику, до той, что свойственна эпигону Петrarки. Далее – к любви сугубо земной, а уж от нее – к плотским радостям. Двигаться вниз проще, чем вверх, а Грандье недаром воспитывался у иезуитов – его казуистика смягчила падение, когда же дно было достигнуто – гарантировала

девице полное отпущение грехов.

Однако для того, чтобы «пришвартоваться» в полном смысле слова, потребовалось еще несколько месяцев. Если начистоту – кюре был слегка разочарован. Что бы ему удовольствоваться вдовой – так нет же...

Для Филиппы бессобытийное внутреннее блаженство сменилось реальными ужасами открывшейся и разделенной страсти, растянутыми во времени муками нравственного выбора, молитвами о том, чтобы Господь дал ей силы, обетами, которые она не могла хранить. Наконец, в отчаянии, с каким бросаются в пропасть, Филиппа капитулировала. Но восторгов капитуляция не принесла, упования не оправдались! Архангел оказался грубым самцом. А про себя саму Филиппа с ужасом догадалась: она себя воображала жертвой, обреченной на заклятие блаженной мученицей, а вышло, что в ней живет существо, чуждое прежней Филиппе, столь же непохожее на нее, сколь непохоже на сладкоречивого проповедника, острослова и гуманиста до кончиков отполированных ногтей вот это вот воплощение животной похотливости! Бедняжка поняла, что влюбленность очень сильно отличается от любви. Во-первых, это только кажется, что влюбляешься; во-вторых, предмет влюбленности суть абстракция. Любишь безо всяких «кроме»; задействуешь в этом процессе всю душу, каждый фибр, собственное «я» плюс вновь обнаруженное существо внутри себя. Таким образом, Филиппа стала воплощением любви, растворилась в любви. В ней жила од-

на только любовь.

Так-таки и одна? Со смешком, почти различимым для человеческого уха, Судьба захлопнула ловушку. Филиппа к этому готова не была. Распятая между физиологией и приличиями – беременная вне брака, падшая без надежды на искупление, – она оказалась совершенно беспомощной. Немыслимое сделалось реальным; то, о чем прежде и речи зайти не могло, теперь было свершившимся фактом. Луна продержалась в полном блеске от силы пару ночей, затем пошла на убыль, словно надежда; и вот совсем исчезла. Оставалось только умереть в объятиях возлюбленного – или, если это невозможно, хотя бы забыться на время, вообразить себя другим человеком.

Встревоженный таким напором, таким безрассудным самоотречением, кюре попытался перенастроить чувства Филиппы с серьезности, почти трагизма – на игривость. Ласки он теперь сдабривал цитатами из самых фривольных классических произведений, например: «Quantum, quale latus, quam juvenile femur!»<sup>22</sup> В перерывах между сеансами любви Грандье пересказывал Филиппе эпизоды из «Галантных дам» сеньора Брантома, шепотом объяснял суть извращений, скрупулезно каталогизированных Фомой Санчесом в трактате о браке<sup>23</sup>. Но лицо Филиппы оставалось подобно мраморной маске. То было лицо с надгробия – застывшее,

---

<sup>22</sup> «Сколь дивное широкое бедро, что за юная ляжка!» – *Прим. авт.*

<sup>23</sup> Имеется в виду трактат «Disputationes de sancti matrimonii sacramento».

отвратившее взор и слух от всего, даже от самой жизни. Когда же Филиппа все-таки открывала глаза – то смотрела на своего любовника словно из другого мира, где существовали одни муки и отчаяние. Взгляд смущал похотливого кюре; он принимался расспрашивать Филиппу, но она отвечала всегда одинаково – запрокидывала руки, за черные кудри притягивала к себе голову Грандье, подставляла под его губы свой страдальческий рот, белую шею и грудь.

Однажды, аккуратно посреди рассказа о том, как король Франциск поил девиц из особых кубков с изображенными внутри любовными сценами (по мере того, как убывало вино в кубке, пьющей открывались все новые детали); так вот, аккуратно посреди сего занятного рассказа Филиппа выпалила, что беременна, и разрыдалась.

Кюре не замедлил сориентироваться. Его рука мигом переместилась с персей любовницы на ее чело; тон из игривого стал наставительным. Филиппа услышала, что должна сама нести свой крест, причем с христианским смирением. Далее Грандье внезапно вспомнил про запланированный визит к мадам де Брю (та страдала раком матки и нуждалась в пасторском утешении) – и удалился.

Больше уже у пастора не было времени на уроки для Филиппы Тренкан. Бедняжка видела своего кюре только на исповеди; никаких встреч наедине. Когда же она пыталась заговорить с ним как с человеком, которого любила, который, как она все еще думала, любил ее – мольбы и жалобы попа-

дали в уши строгого кюре, раздающего облатки и вино, отпускающего грехи и налагающего епитимью. О, с каким великолепным красноречием Грандье требовал покаяния! Да, пусть Филиппа покается, пусть отдастся на милость Господа! Стоило только несчастной напомнить про их любовь, как Грандье упрекал ее с негодованием пророка – действительно, как ему, духовному лицу, смеют говорить о таких мерзостях? Филиппа спрашивала, что ей делать – и тут у Грандье был готов ответ: Господу Богу угодны ее страдания, поэтому она должна принять их безропотно и даже с охотой. Любые упоминания о своей собственной лепте в положение Филиппы кюре отвергал с ходу. Пусть каждая грешная душа сама тащит свое бремя; нечего извинять свои грехи грехами чужими, особенно если этих, чужих, и нет вовсе. И вообще, если мадемуазель явилась исповедоваться – пусть просит отпущения своих грехов, а не взывает к чужой совести. Отчитав таким образом Филиппу, кюре отпускал ей грех. И выпроваживал вон – сбитую с толку, заливающуюся слезами.

Несчастный вид Филиппы ничуть не трогал кюре. Ни жалости к бывшей любовнице, ни раскаяния он не испытывал – одно только недовольство. Осада была изнурительной, победа – бесславной, удовольствие – сомнительным. А теперь еще скороспелая беременность, которая угрожает не только дальнейшей карьере – самой жизни священника. Не хватало ему только бастарда – ко всем прочим неприятностям. Поистине, незаконнорожденный младенец его погубит! Грандье с

самого начала не испытывал нежных чувств к Филиппе, теперь же она стала ему отвратительна. Тем более что весьма подурнела. Беременность и вечная тревога придали некогда прелестному личику выражение морды побитой собаки; розы и лилеи щек завяли, и цветом лица Филиппа теперь походила на ребенка, которого замучили глисты. В сочетании с остальными факторами, болезненный вид внушал священнику уверенность, что дальнейших обязательств у него перед Филиппой нет. Но это не все: Филиппа сама его обманула, поставила под сомнение его безупречный вкус на женщин, навязывает ему бремя. Теперь Грандье с полным сознанием своей правоты мог взять курс, который в заданных обстоятельствах все равно бы взял – только с угрызениями совести. Иными словами, Грандье решил вести себя как ни в чем не бывало, а понадобится – все отрицать. Не только его действия и речи – самые его мысли, самый внутренний настрой будут таковы, словно история с Филиппой де Тренкан не имела и не могла иметь место, словно сама идея их связи была абсурдна, дика и ни с чем не сообразна.

Как говорится, своя рубашка ближе к телу.

## Глава вторая

Тянулись недели. Филиппа все реже выходила из дому и, наконец, вовсе перестала появляться в церкви. Она сказывалась больной и не покидала своей комнаты. У Тренканов жила некая Марта ле Пеллетье, девушка из хорошей семьи, но очень бедная, и притом круглая сирота. При Филиппе она состояла компаньонкой. Месье Тренкан до сих пор ни о чем не подозревал; мало того – он набрасывался на всякого, кто дерзал хоть намекнуть на истинное положение дел, хоть слово обронить о нравственности Грандые. С отеческой тревогой говорил Тренкан о «телесных соках», разбалансированных в организме дочери, и подозревал чахотку. Доктор Фантон был в курсе, но помалкивал. Горожане разделились на два лагеря: одни перемигивались и пересмеивались, другие кипели праведным негодованием на кюре. Эти последние при встречах с виновником несчастья Филиппы язвили его словесно; друзья пастора из тех, что посерьезнее, покачивали головами, а настроенные шутиливо – толкали Грандые под ребра и поздравляли со скорым прибавлением. Грандые был великолепен: и на язвительные намеки, и на поздравления в духе Рабле отвечал, что понятия не имеет, о чем речь. Для луденцев, все еще находившихся под пасторским личным обаянием, его открытый взгляд и слова являлись достаточным доказательством непричастности к делу. Невозможно, что-



бы столь благочестивый человек и впрямь мог обречь прокурорскую дочь! Поэтому в домах таких уважаемых горожан, как месье де Серизе и мадам де Брю, святой отец по-прежнему был желанным гостем. Их двери оставались для Грандье распахнутыми, даже когда захлопнулись двери прокурорского дома – в итоге даже наивный месье Тренкан понял, в чем состоит недомогание Филиппы. Он приступил к дочери с расспросами – и выудил правду. В течение одной ночи Тренкан из преданнейшего друга кюре превратился в его злейшего и опаснейшего врага. Иными словами, Урбен Грандье выковал очередное – притом самое важное – звено цепи, за которую его так скоро потащат на погибель.

\* \* \*

Наконец, ребенок родился. Напрасно в доме загодя закрыли все ставни, напрасно опустили тяжелые портьеры – стоны юной матери, пусть исторгаемые в стеганое одеяло, все же были весьма отчетливы и не избегли чутких соседских ушей. За час новость о благополучном разрешении от бремени облетела весь Луден, а уже утром на воротах Тренканова дома обнаружился листок бумаги с «Одой на ублюдочное пополнение в прокурорском семействе». Подозревали, что разразился одой кто-нибудь из протестантов, ведь месье Тренкан слыл очень набожным католиком и порой пользовался служебным положением, чтобы прищучить отступни-

ка от истинной веры.

Между тем Марта ле Пеллетье проявила неслыханное самопожертвование, публично признав новорожденную девочку своей дочерью. Это якобы она, Марта, согрешила и скрывала свое падение, сколько могла – а Филиппа в христианском милосердии дала ей кров и пищу. Разумеется, никто не поверил – но поступок Марты вызвал всеобщее восхищение. Когда малышке исполнилась неделя от роду, Марта отдала ее на вскармливание одной молодой крестьянке. Сделано это было опять же публично. Протестанты, однако, все-таки продолжали судачить. С целью заткнуть им рты прокурор измыслил весьма мерзкую, хоть и законную, стратегию. Он велел арестовать Марту ле Пеллетье прямо на улице, среди бела дня, и привести в магистратуру. Марте было велено присягнуть, причем при свидетелях, в том, что она является матерью новорожденной девочки, и подписать документ, обязывающий ее заботиться о ребенке. Марта все исполнила – из любви к Филиппе. Один экземпляр документа остался в архиве, второй месье Тренкан торжественно опустил себе в карман. Ложь засвидетельствованная стала юридической правдой. Для персонажей, поднаторевших в крючкотворстве, юридическая правда равняется просто правде, без дополнительных определений. Для остальных персонажей (как вскоре убедился прокурор) эти два понятия отнюдь не эквивалентны. Напрасно месье Тренкан зачитывал документ вслух, напрасно показывал всем желающим лич-

ную подпись Марты, напрасно давал щупать печать! Друзья месье Тренкана только вежливо улыбались и меняли тему, а враги смеялись в голос и отпускали оскорбительные замечания. Мстительность протестантов дошла до того, что один их священник публично заявил: лжесвидетельство, мол, грех пострашнее прелюбодеяния, а лжец, скрывающий скандальную связь, более заслуживает адского пламени, нежели сами прелюбодеи, из-за которых скандал и возник.

Долгое, богатое на события столетие отделяет период активной жизни доктора Сэмюэла Гарта от юности Уильяма Шекспира. В управлении государством, в социальной сфере, в экономике, в физике и математике, философии и искусстве произошли изменения поистине революционные. Но как минимум один общественный институт к концу этой эпохи остался прежним, таким же, каким был на ее заре. Я имею в виду аптеку. Вот как описывает ее Ромео:

В его лавчонке жалкой, по стенам,  
Висели аллигатор, черепаха  
Да кожи рыб каких-то безобразных;  
На полках же – пустых коробок ряд,  
Зеленые горшки и пузыри,  
И семена негодные, остатки  
От нитяных клубков, шнурки, лепешки  
Засохшие – убогий, жалкий хлам...<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Перевод Д. Михаловского.

А вот описание Гарта из его знаменитого труда, который так и называется – «Аптека».

Ряд пыльных чучел на стене одной  
И панцирь черепаший костяной.  
А на другой стене акулье рыло  
Над рыбами летучими застыло.  
Ассортимент зубов широк весьма,  
От сквозняка колеблется тесьма  
С коробочками опийного мака,  
И, в стружьях облупившегося лака,  
Зелено-бур, стеклянно-желтоглаз,  
Ехидный крокодил глядит на вас.

Сей храм науки – и одновременно лаборатория колдуна, и ярмарочный балаган – наиболее ярко иллюстрирует всю противоречивость семнадцатого века, выраженную в сочетании несочетаемого. Ибо век Декарта и Ньютона был также веком Фладда и сэра Кенелма Дигби; логарифмы и аналитическая геометрия пользовались тем же почетом, что и симпатические методы лечения (например, считалось грамотным умащивать бальзамом клинок, нанесший рану, дабы эта самая рана зажила), и учение о сигнатурах. Роберт Бойль, автор «Недоверчивого химика», один из основателей Королевского общества<sup>25</sup>, оставил объемистый домашний лечебник. Вот, к примеру, его средство от эпилепсии: «В полно-

---

<sup>25</sup> Изначально Лондонское королевское общество называлось Обществом наук.

луние собрать с дуба сухие ягоды омелы, истолочь и смешать с вишневым ликером и давать больному». А вот что надобно делать при апоплексическом ударе: «Из смолы мастикового дерева, растущего на Хиосе, извлечь посредством дистилляции в медном перегонном кубе эфирное масло и две-три капли сего масла ввести сначала в одну ноздрю больного, а через некоторое время – и в другую». Словом, наука переживала подъем, но лекари и ведьмы пока и не думали сдавать позиции.

Аптека мэтра Адама находилась на рю де Маршан и считалась заведением средней руки – не убогим, но и не роскошным; такие характерны для провинции. Мумий или носорожьих рогов здесь не водилось, но посетителей привлекали вест-индские черепахи, зародыш кита и восьмифутовый сушеный крокодил. Снадобья были в широком ассортименте. На полках стояли вытяжки из растений – специально для тех пациентов, которые верили в фармакологию Галена. Имелись и новомодные химические вещества для тех, кто предпочитал учение Парацельса и Валентайна. Мэтр Адам предлагал ревень и алоэ, а также каломель (или *Drago mitigatus* – это название, означающее «дракон укрощенный», казалось аптекарю более внушительным). Надобно полечить печень по старинке, растительными средствами – пожалуйста, вот вам колокинтовый огурец. Желаете что-нибудь современное? Берите рвотный камень или сурьму. Если же чистота вашей избранницы (или избранника) оказалась сомнитель-

ной и последствия не замедлили сказаться, — туя вам в помощь. Не хотите тую? Попробуйте ртуть и мел, а то сарсапарель или синюю мазь<sup>26</sup>. Любое из перечисленных снадобий (плюс сушеных гадюк, конские копыта и человечесьи кости) мэтр Адам мог продать прямо на месте, а вот средства более дорогие — например, толченые сапфиры или жемчуга — следовало заказывать отдельно и оплачивать заранее.

С некоторых пор аптека превратилась в штаб заговорщиков, единственной целью которых была месть Урбену Грандье. Духовными руководителями сделались сам прокурор, его племянник, каноник Миньон, лейтенант со своим тестем, Месменом де Силли, врач Маннори и сам мэтр Адам. Последний, пользуясь весь город пилюлями и клистирами, а также выдирая больные зубы, был в самом выгодном положении для сбора сведений.

Например, супруга нотариуса, мадам Шова, под строжайшим секретом сообщила мэтру Адаму (пока он готовил глистогонное для ее малютки Теофила), что кюре вложил в некое сулящее доход предприятие целых восемьсот ливров. Того и гляди, мерзавец разбогатеет!

Затем последовали еще более неприятные новости. Свояченица лакея месье д'Арманьяка, регулярно закупавшая сушеную полынь от женской хвори, шепнула аптекарю, что завтра Грандье обедает во дворце. Прокурорское чело при

---

<sup>26</sup> Тую, ртуть, мел, корень сарсапарели и т. н. синюю мазь применяли для лечения венерических заболеваний.

сем известии омрачилось; лейтенант исторг проклятие и поник головою. Д'Арманьяк не просто правил Луденом – он был одним из фаворитов Его величества. Неужто Грандье втерся к нему в доверие? Это ужасно, ужасно!

Тяжелое молчание повисло надолго. Прервал его каноник Миньон, заявив, что единственная их надежда – хороший скандал. Кюре нужно застукать на месте преступления. Например, в объятиях вдовы виноторговца.

Аптекарь сознался, что здесь им ловить нечего. Вдова отнюдь не болтлива, служанка ее неподкупна, а когда сам мэтр Адам позапрошлым вечером приник к щелке меж ставен, с верхнего этажа прямо на него опрокинули ночной горшок, притом явно полнехонький...

Прошло еще какое-то время. С невозмутимостью и прямо-таки великолепной дерзостью кюре продолжал свои обычные занятия – проповедование и ублажение плоти. Но вот странные, невероятные слухи достигли аптекаревых ушей – кюре якобы теперь торчит у самой скромной и самой набожной девицы в Лудене – у мадемуазель де Брю.

Мадлен де Брю была средней дочерью Рене де Брю, человека благородного происхождения, с впечатляющими родственными связями и изрядным состоянием. Обе сестры Мадлен, старшая и младшая, уже вышли замуж – одна за врача, вторая за помещика. Самой Мадлен сравнялось тридцать, но она была не только не замужем, но даже не помолвлена. Соискатели, правда, у нее не переводились, но девица

всем отказывала, предпочитая жить с престарелыми родителями. Что она там себе думала – Бог весть! Бывают такие женские характеры – вроде тихоня, однако сама скромность – уже загадка. У женщин, подобных Мадлен, сильные эмоции прячутся за внешней холодностью, даже мрачностью. Старшее поколение одобряло Мадлен, а вот из ровесников она ни с кем не дружила, не говоря уже о том, чтобы водиться с девицами помоложе. Ее считали занудой – ведь она не любила шумных развлечений и, случалось, своим кислым видом портила удовольствие другим. Вдобавок Мадлен отличалась излишней, по мнению многих, набожностью. Нет, конечно, женщине и следует быть набожной; только зачем же приносить себя, молодую, в жертву религии? Не годится так часто ходить к причастию, исповедоваться чуть ли не через день и часами простаивать на коленях перед образом Пресвятой Девы; добра от этого не будет! Так, постепенно, Мадлен осталась почти в полной изоляции. Что ее, впрочем, устраивало.

Потом умер Рене де Брю, а вскоре у мадам де Брю обнаружился рак. Болела матушка Мадлен долго, страдала сильно; Грандье же в перерывах между Филиппой Тренкан и вдовой виноторговца неизменно находил время, чтобы утешить болящую. На смертном одре мадам де Брю поручила Мадлен заботам святого отца. Тот обещал печься как о материальных, так и о духовных интересах мадемуазель де Брю. Грандье не лукавил: он и впрямь собирался исполнить обещание,



правда, на свой лад.

После смерти матери Мадлен хотела было порвать мирские связи, отдаться религиозному служению. Однако духовный наставник отговорил ее. В миру, убеждал Грандье, Мадлен принесет гораздо больше пользы. А много ли сделает она, ставши урсулинкой или кармелиткой? Нет, ее место здесь, в Лудене; ее предназначение – быть ярким примером мудрости для всех легкомысленных, суетных девиц. Грандье вещал с особым красноречием; он прямо-таки впал в религиозный экстаз! Глаза сверкали, все лицо было озарено внутренним светом душевного подъема. Чистый апостол, думала Мадлен; а то и ангел. Разумеется, он прав!

Мадлен осталась жить в родительском доме. Но, мрачный и пустой, он угнетал сироту, и она все больше времени проводила с подругой (чуть ли не единственной). Звали подругу Франсуаза Грандье, обитала же она в пасторском доме, ибо доводилась пастору родной сестрой. Нередко сам пастор, на правах брата, посиживал с девицами, когда они латали обноски для бедняков или вышивали покровы для Девы Марии и других святых. Жизнь вновь обретала краски, вновь казалась исполненной смысла; душу Мадлен переполняло счастье.

На сей раз, однако, Грандье сам угодил в собственную ловушку. Проверенная стратегия опытного соблазнителя состояла в том, чтобы проявлять холодность, исподволь распалая чуть затеплившийся огонек; чтобы, до поры обуздывая

собственную чувственность, убедиться в безмерности девичьей страсти – и использовать ее расчетливо и строго по назначению. Но кампания вдруг пошла не по плану – или, точнее, по плану, разработанному самой Справедливостью, но никак не Урбеном Грандье. Впервые в жизни он влюбился. Не разлакомился на особые чувственные наслаждения; не разохотился на юное девственное тело; не впал в азарт от перспективы триумфа над девицей, стоящей выше него на социальной лестнице. Нет, Грандье просто-напросто увидел в Мадлен де Брю человека, личность, и полюбил в ней ее саму. Развратник перешел в принципиально иную веру – стал моногамом. Большой шаг вперед – однако такие шаги заказаны католическим священникам, ибо обрушивают на их головы бесчисленные проблемы, как этического, так и теологического характера, как духовные, так и социальные. Именно с целью избавиться хотя бы от части этих проблем Грандье и сочинил трактат о безбрачии духовенства (мы об этом трактате уже вскользь упоминали). Кому по нраву самого себя считать аморальным еретиком? Но еще меньше у человека желания отказываться от действий, продиктованных мощными импульсами, – особенно когда эти импульсы по своей природе хорошие, когда следование им сулит счастливую, наполненную жизнь. Отсюда – все любопытные сочинения о логическом обосновании и оправдании инстинктов. Обоснование – непременно в терминах философского учения, наиболее популярного в соответствующую эпоху в со-

ответствующей стране. Оправдание нестандартных действий – с отсылкой к соответствующему нравственному коду, переосмысленному для конкретного случая. Трактат Урбена Грандые как раз и характерен для сего трогательного и зачистую слишком запутанного направления апологетики. Итак, Грандые любит Мадлен де Брю и знает про себя, что его любовь по сути – благо. Но по уставу организации, к которой Грандые принадлежит, любовь не благо, а грех. Следовательно, нужно либо отыскать подтверждения, что в уставе есть скрытые смыслы, либо привести доказательства, что сам Грандые, когда клялся блюсти обет безбрачия, видел за конкретными словами совсем другой смысл. Убедить себя в правильности собственных поступков, соответствующих собственным желаниям – что может быть проще для умного человека? Урбену Грандые аргументация в трактате казалась железной. Занятнее другое – почему Мадлен в ней не усомнилась? Верующая истово, добродетельная по самой своей сути, по складу характера, Мадлен воспринимала церковные правила как множество категорических императивов; она скорее умерла бы, чем лишилась девичьей чести. Но Мадлен была влюблена – впервые в жизни и со страстью, свойственной натурам замкнутым и чересчур сдержанным. У сердца свои резоны – когда Грандые объявил, что обет безбрачия – вовсе не кандалы, и священники в отдельных случаях могут жениться, Мадлен поверила. Замужество за Грандые позволит ей любить его – точнее, сделает любовь к мужу ее пря-

мой обязанностью. Следовательно – ибо против логики не пойдешь, – этические и теологические выводы из трактата возлюбленного просто безупречны. Кончилось все тем, что однажды в полночь, в пустой церкви, где гуляло эхо, Грандье исполнил клятву, данную умирающей мадам де Брю. Иными словами – сам себя сочетал узами брака с сиротой, оставленной на его попечение. Как священник, Грандье самого себя спросил: «Берешь ли ты в жены эту женщину?» Как жених, сам себе ответил: «Беру» и надел кольцо невесте на палец. Затем, снова как священник, он благословил новобрачных и, как новобрачный, опустился на колени и принял благословение. Поистине, фантастическая церемония; но влюбленные бросили вызов законам и обычаям, Церкви и Государству – они поверили в правомерность свершенного ими. Обожая друг друга, Грандье и Мадлен не сомневались, что перед Богом они действительно женаты<sup>27</sup>.

Перед Богом – может быть, но только не перед людьми. Насколько знали добрые горожане, Мадлен стала очередной наложницей Грандье. Этакая тихоня, поглядеть на нее – воды не замутит, а на самом деле – не лучше остальных. Святоша, внезапно оказавшаяся блудницей; бесстыдно, как уличная девка, продавшая тело этому Приапу в сутане, этому по-

---

<sup>27</sup> Из документов Гугенотского синода в Пуатье в 1560 г. очевидно, что священники иногда женились на своих любовницах, причем, если женщина была кальвинисткой, ее двусмысленное положение становилось предметом серьезных обсуждений для ее Церкви. (Генри Ч. Ли, «История священнического celibата», гл. XXIX, «Церковь после Тридентского собора») – *Прим. авт.*

хотливому козлу в биретте!

Заговорщики, по-прежнему собиравшиеся вечерами под сенью аптекарского крокодила, негодовали громче прочих, исходили злобой более ядовитой, чем у остальных луденцев. Кляня пастора, но не умея обернуть последнее его пренебрежение законом к его же несчастью (слишком ловок был негодай!), заговорщики утешались банальной бранью. Пусть они ничего не могли поделать – им оставалось хотя бы злословие. И они давали волю языкам, ведя речи со столь многими людьми и в выражениях столь обидных, что родственники Мадлен решили наконец принять меры. Об их соображениях насчет связи Мадлен со священником письменных свидетельств не сохранилось. Известно лишь, что, подобно Тренкану, родня Мадлен свято верила в превосходство юридической правды над правдой незадокументированной. *Magna est veritas legitima, et praevalerebit*<sup>28</sup>. Руководствуясь этой максимой, родственники уговорили Мадлен подать на аптекаря в суд за клевету. Дело слушалось в Парижском парламенте, аптекарь был признан виновным, но один землевладелец из местных, недолюбливавший семейство де Брю и ненавидевший Грандье, поручился за мэтра Адама. Подали апелляцию, состоялось повторное слушание. Увы: на нем лишь подтвердилось первоначальное решение. Беднягу аптекаря приговорили к штрафу в размере шестисот сорока ливров,

---

<sup>28</sup> Юридическая правда велика, и да будет ей всюду предпочтение (*лат.*). – Прим. авт.

взвалили на него оплату всех судебных издержек, да еще и заставили, в присутствии луденских властей, на коленях и с непокрытой головой каяться перед Мадлен де Брю и ее родственниками. Мэтру Адаму следовало «громко и отчетливо объявить, что он предерзостно и со злым умыслом распускал о потерпевшей отвратительные сплетни, за которые он молит прощения у Господа Бога, у Его величества, у системы французского правосудия и у самой мадемуазель де Брю и признает последнюю девицей честной и добродетельной». Все было исполнено в точности. Юридическая правда возторжествовала. Судьи, прокурор и лейтенант признали поражение и уяснили: в дальнейших атаках на Грандые им лучше не касаться Мадлен. В конце концов, ее матушка – из рода Шове; ее кузены носят гордое имя Серизе, а посредством браков де Брю породнились с Табарами, Дрё и Женебо. С такой поддержкой девице позволены любые шалости – в глазах судей она все равно будет добродетельной. Жаль, конечно, аптекаря – тяжба его вконец разорила. Но такова жизнь, и пути Провидения недаром зовутся неисповедимыми. У каждого свой крест, как справедливо заметил один апостол.

После дела мадемуазель де Брю ряды заговорщиков пополнились. В них влились сразу двое. Первый – весьма влиятельный юрист, королевский адвокат по имени Пьер Мено, активно добивавшийся руки Мадлен. Отказы не смущали соискателя. Жестоко обманутый в своих ожиданиях (ибо месье Мено привык считать своими по праву и девицу, и ее

приданое, и семейные связи), королевский адвокат буквально взбеленился. Тренкан сочувственно выслушивал его жалобы, а потом из чистого сострадания предложил союз. Мено ухватился за предложение и быстро стал одним из самых активных членов.

Заодно он привлек к делам союза и своего друга по имени Жак де Тибо. Этот Тибо был помещиком. Когда-то нес военную службу, а ныне состоял тайным агентом при кардинале Ришелье (которого весьма занимали гугенотские провинции). Тибо возненавидел Урбена Грандые с первого взгляда. Ничтожный выскочка без роду без племени – а усы закручивает, как офицер кавалерии, манеры усвоил аристократические, латынью своей кичится, будто из Сорбонны выпустился! Да еще и увел невесту не у кого-нибудь – у королевского адвоката! Нет, это ему даром не пройдет.

Для начала Тибо отправился к одному из самых влиятельных друзей и покровителей Грандые – к маркизу дю Белле, и принялся клеймить священника, подкрепляя обвинения реальными и вымышленными доказательствами. Маркиз живо переметнулся. Грандые стал в его доме персоной нон грата. Глубоко уязвленный, кюре, впрочем, не встревожился. Доброжелатели не замедлили сообщить ему о роли Жака Тибо. Стычка врагов имела место на церковном крыльце. Грандые, в полном облачении, обрушился на Тибо с упреками; тот в ответ замахнулся щегольской ротанговой тростью и ударил священника по голове. Началась новая фаза битвы при Лу-

дене.

Грандые первым предпринял серьезные шаги. Провозгласив, что непременно отомстит, он уже на следующее утро отправился в Париж. Бить святого отца – что за чудовищное богохульство! Грандые обратится в Парижский парламент, дойдет до генерального прокурора, до первого министра, до самого короля!

Не прошло и часу, как мэтр Адам получил сведения об отъезде кюре и о цели его путешествия. Бросив ступку с пестиком, аптекарь поспешил к Тренкану, а тот велел слуге обежать остальных заговорщиков. Вскоре все были в сборе, и после недолгих обсуждений разработали план контратаки. Покуда кюре жалуется королю, заговорщики поедут в Пуатье и пожалуются епископу. Документ составили по всем правилам. Грандые обвинялся в бесчисленных связях с замужними женщинами и девицами, в невежестве и нечестивости, в том, что не читает требник и предается блуду прямо в церковных стенах. Трансформировать сии заявления в юридическую правду было делом техники. Мэтр Адам отправился на рынок и скоро возвратился с парой оборванцев, за скромное вознаграждение готовых подписать все, что угодно. Собственно, писать умел только один из них, по имени Бугро; второй, Шербонне, поставил крест. Выполнив свою миссию, приятели получили деньги и, весьма довольные, пошли их пропивать.

Назавтра поутру месье Тренкан и лейтенант верхами от-



правились в Пуатье, где добились аудиенции у епископского официального представителя по юридическим вопросам. К восторгу заговорщиков, оказалось, что Грандье уже и так в епархиальном черном списке. Слухи об его амурных делах дошли до высшего духовенства. К похотливости и неосмотрительности прибавился куда более тяжкий грех – гордыня. Совсем недавно, например, кюре посягнул на епископское право – выдал за взятку разрешение на брак без предварительного оглашения. Пора, пора подрезать крылышки этому петушку. Господа из Лудена приехали очень кстати.

Вооруженные рекомендательным письмом от официального представителя, Тренкан с лейтенантом Эрве поспешили в епископскую резиденцию, которая находилась в дивном замке Диссе, в четырех лье от города.

Анри-Луи Шастенье де ла Рош-Позе представлял собою редкий экземпляр прелата высокородного и в то же время ученого, создал ряд внушительных трудов, весьма зловеще толкующих Библию. Отец епископа, Луи де ла Рош-Позе, был покровителем и другом Жозефа Скалигера, который обучал юного Анри-Луи. Будущему епископу повезло: с ним занимался «величайший из умов, что когда-либо алкали знаний», – именно так писал о Скалигере Марк Пэттисон. К чести Анри-Луи Шастенье де ла Рош-Позе заметим, что, несмотря на протестантскую веру Скалигера, он оставался лояльным к своему учителю, автору «Нового сочинения об исправлении хронологии», много претерпевшему от иезуи-

тов. Впрочем, остальным еретикам от епископа пощады не было. Гугенотов, коими изобиловала его епархия, ла Рош-Позе ненавидел и всячески усложнял им жизнь. Но, подобно Божьей благодати, подобно дождю, который одинаково орошает сады и праведников и грешников, персонажи с дурным нравом не отличаются предвзятостью. Со своими же, с католиками, епископ тоже не церемонился, если они ему досаждали. Так, в 1614 году принц Конде писал регентше Марии Медичи, что две сотни семей стоят лагерем за городскими стенами и не могут вернуться в свои дома, потому что их духовный отец, будучи *meschant que le diable*<sup>29</sup>, велел аркебузирам стрелять на поражение, если только кто попытается войти в ворота. В чем были повинны эти люди? В верности губернатору, назначенному королевой, но ненавидимому ла Рош-Позе. Принц просил Ее величество покарать священника за «неслыханную дерзость». Никто, впрочем, его не покарал. Епископ преспокойно правил до преклонных лет, пока в 1651 году не скончался от апоплексического удара.

Вспыльчивый аристократ и мелочный тиран, ла Рош-Позе обожал книги, а мир за кабинетными дверями воспринимал как вместилище суеты, отвлекающей от чтения. Да, таков был человек, принявший у себя врагов Грандье. Решение созрело в полчаса. Грандье зарвался, надобно его проучить. Послали за секретарем, выписали ордер на арест и препровождение дерзкого священника в епископскую тюрьму Пу-

---

<sup>29</sup> Злее дьявола (*фр.*).

атье. Ла Рош-Позе подмахнул документ, приклепнул печатью и отдал Тренкану с лейтенантом для использования по их усмотрению.

Грандье тем временем добрался до Парижа, изложил свою жалобу в Парламенте и (благодаря д'Арманьяку) получил аудиенцию у короля. Растроганный Людовик XIII повелел восстановить справедливость, и уже через несколько дней Жак Тибо получил повестку в Парижский парламент. Он тотчас пустился в путь, прихватив ордер на арест Грандье. Дело заслушали. Казалось, оно решится в пользу священника – но вдруг Тибо театральным жестом извлек ордер и вручил его судьям. Те прочли и постановили отложить слушания до тех пор, пока Грандье не оправдается перед епископом. Враги кюре торжествовали победу.

В Лудене началось официальное расследование. Сначала вел его человек непредвзятый – лейтенант по гражданским делам Луи Шове. Затем, когда Шове с великим отвращением отстранился, дело передали прокурору. Обвинения посыпались со всех сторон. Преподобный Месшен, один из викариев в приходе Святого Петра, свидетельствовал, будто бы Грандье предавался блуду прямо под церковными сводами, на каменных плитах (определенно, холодноватых и жестковатых для подобных занятий). Преподобный Мартин Бульо прятался за колонной и наблюдал сцену «Грандье и мадам де Дрё на семейной скамье» (дама доводилась бейлифу де Серизе тещей, теперь, увы, уже покойной). Тренкан заменил

оригинальные слова Бульо «говоря с означенной дамой, накрыл ее руку ладонью». После Тренкановой поправки выходило, что Грандые «свершал действия амурного характера». Не свидетельствовали против кюре только те, чьи показания стали бы самыми убедительными, — а именно шаловливые горничные, неудовлетворенные жёны, отнюдь не безутешные вдовы, а также Филиппа Тренкан и Мадлен де Брю.

По совету д'Арманьяка, который обещал писать к ла Рош-Позе и к его представителю, Грандые решил сам явиться перед епископские очи. Тайно возвратившись из Парижа, он переночевал в приходском доме и уже завтра, на рассвете, вновь был в седле. Аптекарь узнал обо всем аккурат перед завтраком. Еще через час Тибо, два дня как прибывший в Луден, мчался галопом в Пуатье. Не размениваясь на представителей, Тибо сразу направился в замок Диссе и сообщил, что Грандые где-то рядом — пытается избежать унижительного ареста посредством добровольной сдачи. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы уловка удалась. Представитель епископа придерживался того же мнения. В итоге, на подступах к замку Диссе, Грандые был арестован сержантом полиции и доставлен в епископскую тюрьму. Конечно, Грандые возмущался, но серьезного сопротивления не оказал. Обошлось без шума.

Епископская тюрьма помещалась в одной из башен великолепного Диссе. Здесь пастора передали тюремщику, по имени Люка Гулье, который запер его в сырой и темной ка-

мере. Это случилось 15 ноября 1629 года. С момента ссоры на церковном крыльце не минуло и месяца.

В камере властвовал промозглый холод, но доставить из дома теплую одежду не разрешили. Через несколько дней матушка Грандые взмолилась о свидании – ей было отказано. Через две недели тюремного кошмара Грандые написал епископу жалостное письмо. «Преосвященнейший Владыка! Я всегда верил сам и учил других, что скорбь есть прямая дорога на Небеса. Но, пока Ваша милость, боясь моей гибели и желая моего спасения, не поместила меня в сии стены, я не имел повода познать всю глубину скорби. Пятнадцать дней, проведенные здесь, приблизили меня к Господу более, нежели сорок лет прежней благодати». Далее следовал лихо закрученный пассаж, полный спеси и аллюзий на Библию. «Господь, – рассуждал Грандые, – умело соединил лик человеческий с ликом львиным, иными словами – умеренность Вашего преосвященства со страстями моих врагов, каковые, жажда уничтожить меня, будто нового Иосифа, преуспели лишь в том, что сократили мне путь к Царству Божию». Отсюда благостные метаморфозы, произошедшие в Грандые: ненависть его преобразовалась в любовь, жажда мести – в желание служить обидчикам. Наконец, после цветистых рассуждений о Лазаре, Грандые добрался и до сути своего письма: поелику суть наказания – в исправлении, а оно за две недели случилось, он, Грандые, стал другим человеком – его следует освободить.

Вычурный стиль доверия не внушает, честные чувства таким способом не передать. Но литература – не то же самое, что жизнь. У нее свои законы. В начале семнадцатого века абсурдность, с какой изъяснялся в письме Грандье, сошла за искренность. Не было причин сомневаться в его уверенности, что страдания действительно приближают к Богу. Но увы: Грандье слишком мало понимал собственную свою натуру, иначе сообразил бы: вновь обретенные блага земные неизбежно (если только он не воспротивится этому всей душой) уничтожат целительное воздействие страданий – причем не за пятнадцать дней, а за пятнадцать минут.

Епископ отнюдь не смягчился; письма от Арманьяка и его доброго друга, архиепископа Бордоского, также не достигли цели. Епископ лишь раздосадовался: как же, у этого червя Грандье обнаружились столь влиятельные друзья! И этот Арманьяк, и архиепископ Бордоский (разумением – просто мерин из конюшни самого де ла Рош-Позе) еще смеют учить сего ученого мужа, как обращаться с зарвавшимся попиком! Нет, это совершенно недопустимо. И де ла Рош-Позе распорядился: пусть для Грандье ужесточат тюремный режим.

В то тяжелое время Грандье навещали только иезуиты. Он был их учеником, и они его не бросили. Заодно с утешениями святые отцы приносили Грандье теплые чулки и письма из внешнего мира. Так Грандье узнал, что Арманьяк перетянул на свою сторону генерального прокурора, а тот велел Тренкану возобновить иск против Тибо. Тибо явил-

ся к Арманьяку и выразил готовность пойти на компромисс, но господа проповедники воспротивились: мол, компромисс повредит репутации кюре. Грандье воспрянул духом, сочинил еще одно письмо епископу, но ответа не дождался. Тибо сам пришел к нему с предложением уладить дело без суда, Грандье вновь написал к епископу – безрезультатно. В начале декабря в Пуатье были заслушаны подкупленные свидетели – и произвели самое неблагоприятное впечатление даже на предвзятых судей. Затем дошла очередь до викария, служившего в церкви Грандье, по имени Жерве Мешен, и до гражданина, якобы наблюдавшего шашни Грандье с мадам де Дрё. Показания обоих были сочтены почти столь же неубедительными, как и показания Бугро и Шербонне. Осудить человека на основании таких показаний представлялось невозможным, но де ла Рош-Позе был не из тех, кто цепляется за правдоподобность или строго следует процессуальным нормам. 3 января 1630 года вердикт наконец-то вынесли. Грандье приговорили в течение трех месяцев поститься каждую пятницу (причем строго поститься – дозволялись только хлеб и вода); далее, Урбену Грандье воспрещалось проводить службы в Пуатье в течение пяти лет, а в городе Лудене – пожизненно. Для священника такой приговор означал полный крах – как финансовый, так и карьерный. Но, по крайней мере, Грандье вышел на свободу. Снова он мог жить в своем собственном теплом и уютном доме, хорошо питаться (за исключением пятниц), беседовать с род-

ными и друзьями и даже, соблюдая бесчисленные предосторожности, принимать у себя женщину, которую считал своей женой. Наконец, Грандые был волен, минуя де ла Рош-Позе, обратиться к лицу вышестоящему, а именно к архиепископу Бордоскому. С многочисленными заверениями в преданности и почтении, однако с твердостью, Грандые написал в Пуатье о своем решении передать дело в столичный суд. Взбешенный таким афронтом, де ла Рош-Позе был, однако, бессилен. Церковное право (поистине, его придумали для подрыва авторитетов!) в определенных обстоятельствах даже червям позволяло извиваться.

Тренкана и остальных заговорщиков новость о намерении Грандые ввергла в уныние. Архиепископ был дружен с Арманьяком и едва выносил де ла Рош-Позе; имелись все основания опасаться, что апелляция Грандые будет рассмотрена, притом в его пользу. И что тогда? Развратный кюре навек рассядется в Лудене, вот что! С целью предотвратить столь постыдный исход, враги Грандые сами подали апелляцию — только не в высший духовный суд, а в Парламент. Еще бы! Епископ со своими присными могли наложить лишь духовное наказание, вроде поста или, в особо вопиющих случаях, отлучения от Церкви. Не в их власти было приговорить к повешению, или к отсечению конечностей заодно с клеймением, или сослать преступника на галеры. Нет, тут нужен суд по гражданским делам. Но раз Грандые виновен перед Господом, так уж наверное виновен он и перед людьми. Словом,



апелляция была состряпана, а слушания назначены на август месяц.

Пришел черед встревожиться Урбену Грандые. Дело Рене Софье, сельского священника, всего шесть лет назад сожженного заживо за «духовное кровосмешительство и кощунственное бесстыдство», было слишком свежо как в памяти Грандые, так и в памяти прокурора. Арманьяк, на вилле которого Грандые провел почти всю весну и лето, утешил своего друга. Не о чем беспокоиться: где Урбен Грандые, а где Рене Софье! Последнего застукали на месте преступления, и он не имел друзей среди судей! Против Грандые прямых улик нет; Грандые поддержит генеральный прокурор – он уже обещал; ну или, по крайней мере, генеральный прокурор будет сохранять нейтралитет. Что уже само по себе – благоволение. Иными словами, все обойдется. Так и случилось. Судьи сделали именно то, чего больше всего опасались недруги Грандые, – они назначили новый процесс, под началом лейтенанта полиции города Пуатье. Это означало непредвзятость судей и перекрестный допрос свидетелей. В ужасе перед такой перспективой, Шербонне просто сбежал, а Бугро не только отрекся от своих «показаний», но и признался, что его подкупили. Старший из двух викариев, Мартин Бульо, заранее озаботился опровергнуть собственные свидетельства, а младший, Жерве Мешен, явился к брату Урбена Грандые и в страхе пополам с раскаянием позволил со своих слов записать, что все сказанное им про-

тив кюре было ложью. Урбен Грандье не устраивал полуночных оргий ни с девицами, ни с дамами, а его, Месшена, заставили клеветать! Но самое ужасное для заговорщиков: изрядно стухнув, каноник церкви Святого Креста назвал имя Тренкана, открыл, что Тренкан приходил к нему и сначала подкупом, а затем и угрозами пытался склонить к даче ложных показаний.

Таким образом, когда дошло до суда, против обвиняемого улик не обнаружилось, зато против обвинителей их было более чем достаточно. Дискредитированный Тренкан оказался перед кошмарной дилеммой. Можно было поведать о соблазнении Филиппы Урбеном Грандье – тогда все неблагоприятные действия Тренкана были бы поняты и, пожалуй, частично оправданны. Но это означало позор для дочери и презрительную жалость к простодушному отцу и неумелому мстителю. Тренкан промолчал. Честь Филиппы была спасена, ненавистный Грандье оправдан, зато репутация самого Тренкана – как дворянина, как прокурора и как общественного деятеля – восстановлению, увы, не подлежала.

Отныне Грандье мог не опасаться, что его сожгут за «духовное кровосмешительство», но запрет на священническую деятельность оставался в силе по милости упрямого де ла Рош-Позе. Оставалось ждать, что решит вышестоящая инстанция. Архиепископство Бордоское было в те времена вотчиной семейства д'Эскубло де Сюрди. Франсуа де Сюрди был сыном Изабо Бабу де ла Бурдазье, которая доводилась род-

ной теткой самой Габриэль д'Эстре, первой фаворитке Генриха IV. Благодаря таким связям, Франсуа де Сюрди чрезвычайно быстро продвинулся по карьерной лестнице. В двадцать три года он уже щеголял кардинальской шляпой, а год спустя, в 1599-м, получил сан архиепископа Бордоского. В 1600-м он предпринял путешествие в Рим, где удостоился прозвища «Его прогнившее преосвященство, кардинал Бордельский». Возвратившись, Франсуа де Сюрди делил свой досуг между закладкой зданий религиозного назначения и жестокой грызней с местным парламентом. Ссоры он затевал по пустячным поводам, а однажды даже отлучил сей орган от Церкви – как полагается, со всеми церемониями – захлопыванием Библии, задуванием свечи и с похоронным колокольным звоном. Скончалось Прогнившее преосвященство в 1628 году, продержавшись у власти почти тридцать лет. Наследовал ему младший брат, Анри.

Вот что читаем о нем у Таллемана: «Мадам де Сюрди, матушка новоиспеченного архиепископа, открыла сыну на смертном одре, что настоящим его отцом был канцлер де Шиверни, следовательно, для него припасены епархия Мальезе и еще несколько синекур, и пусть сын удовольствуется этими благами и не претендует на собственность ее покойного супруга. Анри де Сюрди отвечал: „Матушка, я пытался отрешиваться от слухов о вашей нравственности, но сейчас с сожалением признаю, что они были правдивы“. Анри де Сюрди затеял дележ наследства и отсудил-таки себе пятьде-

сят тысяч крон, наравне со своими братьями и сестрами»<sup>30</sup>.

Епископ Мальезский (городок Мальезе также был семейной вотчиной, до Анри управлявшейся его дядюшкой) зажил весело и свободно. Сан избавлял его от ответственности, неотделимой от супружества, но не внушал и страха за последствия от приятностей любви. Анри столько тратил на эти приятности, что мадемуазель дю Тилле с истинно галльской мелочностью посоветовала Жанне де Сюрди, жене епископского брата, завести интрижку с собственным деверем. «Боже, мадемуазель! Да что вы такое говорите?» – воскликнула Жанна. «А что я такое говорю? – отозвалась дю Тилле. – Я говорю, что денежки должны оставаться в семье. Ваша собственная покойная свекровь не брезговала интимными отношениями со своим деверем, в бытность его епископом Мальезским»<sup>31</sup>.

В перерывах между интрижками Анри де Сюрди развлекался войной – сначала на суше как главный квартирмейстер и интендант артиллерии, затем – на море как капитан и первый лорд адмиралтейства. Собственно, он и создал французский флот.

Унаследовав от брата Бордоский епископат, Анри де Сюрди так же, как ранее – Франсуа, стал враждовать с губернатором, мсье д'Эперноном, и по тем же поводам. Например,

---

<sup>30</sup> Таллеман де Рео. Занимательные истории. Париж, 1854. Т. II. С. 337. — *Прим. авт.*

<sup>31</sup> Там же. Т. I. С. 189. — *Прим. авт.*

у них возникли разногласия насчет полного титула для архиепископа и прав губернатора первым выбирать себе рыбу из каждого улова. Страсти накалились до того, что однажды губернатор велел своим людям остановить и развернуть архиепископскую карету. За такое оскорбление Анри де Сюрди отлучил дерзновенных от Церкви и запретил всем священникам служить в губернаторской часовне, для усиления эффекта распорядившись, чтобы каждую мессу в Бордо непременно заканчивали мольбой о возвращении губернатора на путь истинный. Взбешенный герцог д'Эпернон парировал запретом собираться больше трех в пределах архиепископского дворца. Услыхав об этом, Анри де Сюрди бросился на улицу и обратился к народу с призывом защитить свободу Церкви. На шум появился из своей резиденции губернатор, встретился лицом к лицу с епископом и в сердцах ударил его тростью. Анри де Сюрди незамедлительно предал д'Эпернона анафеме. О конфликте сообщили кардиналу Ришелье, который решил принять сторону де Сюрди. Герцога сослали в одно из его поместий, де Сюрди праздновал победу. Впрочем, позднее и он не избежал опалы. «В ссылке, — пишет Таллеман, — Анри де Сюрди выучил кое-что из теологии».

Удивительно ли, что де Сюрди проникся к Урбену Грандье? Сам человек чувственный, он с легкостью отпустил Грандье грех прелюбодеяния. Сам задиристый и дерзкий — восхищался этими качествами в священнике, стоявшем ку-

да ниже на карьерной лестнице. Вдобавок острослов Грандье был далек от ханжества, прямо-таки сыпал забавными историями, представлял собою истинный кладезь полезных сведений и казался приятнейшим из компаньонов. Весной 1631 года Грандье посетил де Сюрди, после чего Арманьяк доверительно сообщил своему протеже в письме: «Архиепископ вам весьма симпатизирует». Практическая выгода этой симпатии скоро выразилась в приказе де Сюрди пересмотреть дело Грандье у себя в вотчине – в Бордо.

Тем временем огонь великой национальной революции, инициированной кардиналом Ришелье, тлел себе и тлел – но вдруг превратился в яркое пламя, которое опалило всех без исключения участников нашей мелкой в историческом контексте провинциальной драмы. Желая сломить протестантов и крупных феодалов, Ришелье убедил короля и королевский совет в том, что стране угрожают крепости и замки. А значит, они должны быть уничтожены до основания. Множество крепостей уже сровняли с землей, рвы засыпали, валы превратили в аллеи. Дошла очередь и до луденского замка. Основанный еще римлянами, в Средние века неоднократно перестраивавшийся и расширявшийся, он по праву считался самой мощной крепостью в провинции Пуату. Прочные стены, укрепленные восемнадцатью башнями, окружали высокий холм, на котором расположился город Луден; внутри были дополнительный ров и дополнительное кольцо стен, а в самой сердцевине – собственно замок, средневековая твер-

дыня, обновленная совсем недавно, в 1626 году, при нынешнем правителе Жане д'Арманьяке. Ремонт и полезные новшества обошлись ему в изрядную сумму, а главное – д'Арманьяк, служивший королю первым лордом-постельничьим, имел заверение Его величества в том, что, будь даже замок разрушен, никто не посмеет тронуть донжон.

У Ришелье, впрочем, были свои, отличные от монарших, соображения насчет губернаторского замка. Кардиналу Жан д'Арманьяк представлялся всего-навсего одним из многих приближенных ко двору, а город Луден виделся гнездом потенциально опасных гугенотов. Правда, эти гугеноты не прикнули ни к недавнему восстанию на юге страны под предводительством герцога де Рогана, ни к событиям в Ла-Рошели, где воду мутили англичане. Но сегодняшняя преданность Короне отнюдь не гарантирует, что гугеноты из Лудена не взбунтуются *завтра*. Чего и ждать от еретиков? Нет, нет, цитадель должна быть разрушена вместе с замком! Заодно уж и лишить Луден всех привилегий – недостойн он их, ибо жители по большей части исповедуют протестантство. Кардинал намеревался перевести эти привилегии на свой собственный город, у которого уже имелось скромное название – Ришелье; сердцем этого города должно было стать родовое поместье кардинальских предков.

Сами луденцы выступали категорически против разрушения замка. В те времена народ привык к постоянным войнам; католики Лудена, наравне с протестантами, полагали, что,

лишившись крепостных стен, останутся беззащитными перед «солдатней и мародерами всех мастей» – так, по крайней мере, выразил общественное мнение Жан д'Арманьяк. А тут еще и слухи об истинных планах кардинала пошли расползаться по Лудену. Ясно же: если только Ришелье свои планы осуществит, Луден превратится не в деревню даже – в жалкую, Богом забытую *деревушку*. Грандье, как близкий друг д'Арманьяка, разумеется, принял сторону большинства. Почти все его личные враги были привержены кардиналу, плевать хотели на Луден и рассчитывали на кардинальские милости в награду за предательство интересов родного города. Выходило, что, готовый праздновать окончательную личную победу, Урбен Грандье столкнулся с проблемами куда серьезнее тех, которые были у него прежде.

Общественное положение Грандье было в тот период не просто странным – парадоксальным. Ему запретили священническую деятельность, однако прихода Святого Петра не лишили – он оставался кюре, а службу за него пока что нес родной брат, первый викарий. Друзья не отвернулись от Грандье, зато враги объявили его изгоем, которому путь в приличное общество заказан. В то же время «изгой», пусть и из-за кулис, управлял целым городом. Жану д'Арманьяку приходилось немало времени проводить при дворе; в его отсутствие губернаторские функции выполняли мадам д'Арманьяк и преданный лейтенант. И у обоих имелись распоряжения: по всем важным вопросам консультироваться с Урбе-



ном Грандые. Опозоренный и отстраненный от дел, священник был, по факту, вице-губернатором и защитником семьи первого из горожан.

Летом 1631 года Тренкан отошел от дел. Вся общественность, все коллеги Тренкана были потрясены открытиями, сделанными на втором процессе против Грандые. Определенно, человек, который из личной мести опустил до ложных клятв, подкупа свидетелей и фальсификации улик, был недостоин и дальше занимать высокое положение прокурора. Под молчаливым, но настойчивым давлением Тренкан подал в отставку. Вместо того чтобы продать должность (как намеревался ранее), Тренкан неожиданно подарил ее некоему Луи Муссо – но с условием. Молодой юрист мог стать луденским прокурором, только женившись на Филиппе Тренкан. Для Генриха IV Париж стоил мессы; для Луи Муссо завидный пост стоил девственности невесты и насмешек протестантов. Обвенчались молодые тихо и скромно. Для Филиппы вступил в силу приговор – сорок лет брака без любви.

В ноябре того же года Грандые вызвали в аббатство Сен-Жуэн-де-Марн, одну из любимейших резиденций архиепископа Бордоского. Там Грандые узнал, что апелляция его была рассмотрена положительно, он может возобновить священническую деятельность в приходе Святого Петра. Правда, Анри де Сюрди дал восстановленному в правах кюре дружеский и в высшей степени мудрый совет. Поскольку, сказал де Сюрди, официальная реабилитация не только не тихомии-

рит врагов Грандые, но, напротив, взбесит их (а враги многочисленны и влиятельны), лучше бы Урбену Грандые покинуть Луден и начать с чистого листа в каком-нибудь другом приходе. Иначе не видать ему покоя! Грандые со всей учтивостью пообещал обдумать это предложение, даром что для себя решил сразу: никуда он из Лудена не уедет. Там он был пастором, там и продолжит карьеру – назло врагам. Его хотят выжить? Отлично! Значит, он остается. Потому что ему по нраву стычки и колкости; потому что, подобно Мартину Лютеру, он, Урбен Грандые, гневаясь, получает удовольствие.

Были у Грандые и более простительные причины, чтобы остаться. В Лудене жила его милая Мадлен, для которой отъезд из родного города представлялся практически невозможным. В помощи Грандые нуждался верный друг, Жан д'Арманьяк; бросить его в разгар борьбы за крепость и замок было бы равносильно предательству на поле боя.

По дороге в Луден из аббатства Сен-Жуэн-де-Марн Грандые остановился в доме деревенского священника, похвалил лавровые деревья в его саду и спросил, нельзя ли срезать одну ветвь. Старик священник с радостью позволил. Ничто, сказал он, не оттеняет аромата дикой утки и жареной телятины лучше, чем лавровый лист. Ничто, добавил Грандые, не говорит столь красноречиво о триумфе. Именно так – с лавровой ветвью в руке – Урбен Грандые проскакал по улицам Лудена. Тем же вечером, почти через два года молчания, звучный пасторский голос вновь взмыл под церковные

своды. А заговорщики, осененные аптекаревым крокодилом, признали поражение и засели обдумывать следующий шаг.

Новая фаза борьбы настала раньше, чем они могли предположить; да и никто такого не ждал. Иными словами, через пару дней после триумфального возвращения Грандье в Луден прибыл весьма замечательный персонаж и снял комнату на постоялом дворе «Лебедь и крест». Звался он Жаном де Мартином, бароном де Лобардемоном, занимал пост председателя апелляционного суда провинции Гиень, был членом Государственного совета, а в Лудене появился как специальный посланец Его королевского величества – дабы надзирать за разрушением луденской крепости. Для человека, которому исполнился лишь сорок один год, барон де Лобардемон успел изрядно продвинуться. Карьера его отчетливо демонстрировала, что в определенных обстоятельствах куда эффективнее ползти, нежели шагать в полный рост. А также – что самые юркие из пресмыкающихся еще и обладают самыми ядовитыми жалами. Всю свою жизнь Лобардемон только и делал, что пресмыкался перед властью имущими и жалил беззащитных. Настала пора пожинать плоды – барон вошел в число доверенных лиц Его высокопреосвященства.

Лет через двести с лишком барона, пожалуй, сравнивали бы с диккенсовским Урией Хипом. Долговязое вихляющее тело, вечно потные руки, которые барон имел привычку потирать, самоуничтожение и заверения в добрых намерениях – все черты Урии Хипа были в наличии. Как и скрытая

злоба и нюх на счастливый случай.

Барон не впервые приехал в Луден. Годом раньше он крестил здесь одного из детей д'Арманьяка, и тот, весьма наивно, числил Лобардемона в преданных друзьях. На самом деле друзей барон не заводил принципиально, а предан бывал исключительно влиятельным персонам. Жан д'Арманьяк к таковым не относился – он всего-навсего пользовался симпатией короля, который не имел мужества сказать «нет» собственному первому министру. Его величество гарантировал д'Арманьяку, что замок не тронут; но Его высокопреосвященство решил, что замок следует разрушить. Отсюда следовало, что рано или поздно (скорее – рано) король возьмет назад свое обещание. Следовательно, королевский фаворит – не более чем нуль, ничтожество с титулом. Прежде чем уехать в Пуатье, барон посетил д'Арманьяка и привычно заверил его в вечной дружбе. Он, живя в Лудене, со всем почтением относился к мадам д'Арманьяк, из кожи вон лез, чтобы завоевать расположение кюре – а сам тайком подолгу беседовал с Тренканом, Эрве, Месменом де Силли и остальными приверженцами кардинала. Грандье скоро об этих встречах пронюхал – шпионов у него было не меньше, чем у аптекаря, и дело они знали; словом, Грандье написал губернатору письмо: остерегайтесь, дескать, Лобардемона, а пуще того – Лобардемонова хозяина, кардинала. Д'Арманьяк в ответ похвалился, что королевский посланник как раз получил особые распоряжения насчет замка – его не тронут.

Значит, проблема решена, волноваться не о чем.

Монаршее послание было получено в середине декабря 1631 года. Лобардемон молча сунул его в карман. Разрушение внешних стен и башен шло полным ходом, и в январе, когда Лобардемон вдруг выехал из Лудена по делам, не терпящим отлагательств, рабочие со своими стенобитными орудиями приблизились к губернаторскому замку. От главного инженера Грандье узнал, каков приказ. Оказалось – снести замок до основания. Действуя на свой страх и риск, Грандье поставил гвардейцев губернатора кордоном вокруг замка.

В феврале барон вернулся. Видя, что момент для наступления неподходящий, он рассыпался в извинениях перед мадам д'Арманьяк за свою непростительную оплошность и наконец-то обнародовал королевское письмо. Замок был спасен – вот только надолго ли? И какой ценой? Тем временем некий Мишель Люка, личный секретарь Его величества и преданнейший агент Ришелье, получил приказ: очернить д'Арманьяка в глазах короля. Что до кюре – с ним поквитаются, когда наступит подходящий момент.

В начале лета 1632 года Грандье с д'Арманьяком смогли отпраздновать свою последнюю и наиболее самоубийственную победу. Курьер был подкуплен, целая пачка писем от кардиналистов к Мишелю Люка была у него изъята. Письма, сочившиеся чудовищной клеветой на д'Арманьяка, доказывали, что кропавшие их персонажи страстно желали разрушить луденскую крепость. Жан д'Арманьяк, который

скрывался на своей загородной вилле, тайно приехал в Луден и набатом собрал горожан на площади. Письма зачитали вслух, и таков был народный гнев на заговорщиков, что Эрве, Тренкан и остальные попрятались, словно крысы. Однако триумф губернатора оказался недолог. Уже через несколько дней, вернувшись к королевскому двору, д'Арманьяк обнаружил, что вести летели впереди него – и очень не понравились кардиналу. Ла Врилье, государственный секретарь и давний друг, отвел д'Арманьяка в сторонку и сообщил, что придется выбирать между замком и обязанностями придворного. Ни при каких обстоятельствах Ришелье не позволит сохранить и то, и другое. И не стоит рассчитывать на королевское обещание – ситуация изменилась, замок в любом случае сровняют с землей. Жан д'Арманьяк все понял. И больше не сопротивлялся. Год спустя король написал своему посланцу барону: «Месье де Лобардемон, до нас дошли вести о вашем усердии... Сим письмом мы выражаем удовлетворение вашими действиями и убеждаем вас не отсрочивать более разрушение донжона, от коего должно остаться лишь ровное место». Как обычно, кардинал добился своего.

Тем временем Грандье боролся и за себя, и за губернатора. Не прошло и нескольких дней с его восстановления в должности, как недруги обратились к епископу Пуатевинскому с просьбой позволить им принимать Святые Дары из чьих-нибудь других рук, но только не из рук Урбена Грандье,

ибо они – нечисты. Де ла Рош-Позе с радостью удовлетворил прошение, убив разом двух зайцев. Во-первых, он покарал Грандье, дерзнувшего вернуть должность в обход него, де ла Рош-Позе; во-вторых, без слов сказал архиепископу Бордоскому все, что думает о нем лично и о его решениях. Разразился новый скандал, причем не один. Летом 1632 года Луи Муссо и его супруга, Филиппа, явились в церковь прихода Святого Петра, чтобы окрестить своего первенца. Грандье бы взять да и переадресовать эту обязанность кому-нибудь из викариев; так нет, он вздумал провести крещение сам. Луи Муссо помахал перед ним решением епископа. Грандье заявил, что оно незаконно, крупно повздорил с мужем бывшей любовницы и подал в суд, желая восстановиться в правах.

Завели новое дело, и заодно вытащили на свет дело старое. Грандье позабыл все, о чем писал из тюрьмы. Христианское смирение, ненависть, переродившаяся в любовь, жажда мести, уступившая жажде служения обидчикам, – что за чушь! Тибо его ударил – он за это поплатится. Напрасно сникший д'Арманьяк советовал другу решить дело миром. Нет, Грандье, раз отказавшись от компромисса, на попятную идти не желал. Едва восстановившись в должности, кюре попытался выжать максимум из старых претензий. Но друзья в суде нашлись и у Тибо; Грандье, правда, выиграл процесс – но победа была пиррова. Компенсация за моральный и физический ущерб составила лишь двадцать четыре ливра – зато

до основания разрушила надежду не только на окончательный мир, но даже на временную передышку.



# Глава третья

## I

Покуда Урбен Грандье вращал колесо фортуны от триумфа к поражению и снова к недолгому триумфу, его современник вел борьбу за приз куда более ценный. Участь в школе иезуитов, юный Жан-Жозеф Сюрен, пожалуй, замечал среди старших товарищей-школяров или среди неофитов красивого молодого священника; наверно, слышал о нем одобрительные речи: как прилежен Грандье, как он одарен и как далеко пойдет. Урбен Грандье выпустился в 1617 году и тогда же покинул Бордо; больше Сюрен его не видел. Поздней осенью 1634 года, когда Жан-Жозеф Сюрен приехал в Луден, Грандье был уже мертв, а прах его развеян на четырех ветрах.

Итак, у нас – Грандье и Сюрен, современники и почти ровесники, окончившие одну и ту же школу, воспитывавшиеся одними и теми же наставниками, изучавшие гуманитарные науки и теологию. Оба – священники; один служил в миру, другой остался с иезуитами. И тем не менее эти двое обитали в несоизмеримых вселенных. Грандье был обычным мужчиной, страстным и чувственным – ну, может, несколько более чувственным, чем большинство. Вселенная Гран-

дье представляла собой «мир» в том смысле, в каком слово употребляют в Евангелии и Посланиях святых апостолов. «Горе миру от соблазнов». «Я о них молю; не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек».

«Мир» в данном случае – это человеческий опыт, человеческие дела. Строится он вокруг эго. «Мир» – жизнь без духовной полноты, сведенная к потребностям одного конкретного «я». Природа, искаженная нашими аппетитами и отвержением Бога. Финальность, отделенная от Вечности. Множественность в изоляции от Основы, единой и незыблемой. Путь скорбей. Система, в которой посредством словес объясняют дивное и непостижимое; где к дивному и непостижимому прицеплена табличка «Бог». Вселенная, приниженная словесным практицизмом.

Ей противостоит «иной мир», с Божиим царством. К нему-то и стремился Жан-Жозеф Сюрен всю свою сознательную жизнь. Происходил Сюрен из семейства не только благородного и богатого, но еще и набожного. Сюрены успешно сочетали практичность с самопожертвованием. Перед смертью отец Жан-Жозефа немало отписал в пользу иезуитов, а мадам Сюрен, схоронив мужа, реализовала свою

давнюю мечту — ушла в монастырь кармелиток. Наверно, ме-сье и мадам Сюрен воспитывали сына в строгости, граничив-шей с суровостью. Когда Жан-Жозефу было уже за пятьде-сят, он, оглядываясь на свое детство, мог обнаружить лишь один краткий счастливый период, да и тот выдался по при-чине чумы. Восьмилетнего Жан-Жозефа отправили в дерев-ню, опасаясь, как бы он не заразился. Стояло лето, деревня оказалась прелестным уголком, гувернантка имела распоря-жения не стеснять мальчика, родственники из местных при-ходили с визитами и чудесными гостинцами. «Я проводил дни в играх и забавах, бегал где хотел и никогошеньки не боялся», — писал Сюрен. (Сколь многое из раннего детства раскрывает эта фраза!) «Но вот эпидемия пошла на убыль, и меня отправили учиться. Начались тяжелые времена. Сле-довать заветам Господа нашего оказалось столь трудно, что лишь четыре-пять лет назад я ощутил некоторое облегчение, а допрежь того мои страдания все нарастали и достигли сте-пени почти несносной для брenneй плоти».

Жан-Жозеф обучался в иезуитской школе. Его наставля-ли во всех науках, когда же пришла пора выбирать попри-ще, никаких дилемм перед юношей не возникло. Он вступил в орден. Впрочем, из совсем иного источника Жан-Жозеф напился кое-чем получше, нежели безупречная латынь, и поважнее, нежели схоластическая теология. Дело в том, что лет пять из детства и отрочества Сюрена пришлись на пе-риод, когда настоятельницей монастыря кармелиток в Бордо

была испанка по имени сестра Изабель от Ангелов из монастыря Святой Терезы. Сестра Изабель уже в зрелом возрасте вместе с группой монахинь отправилась во Францию с целью нести свет учения святой Терезы и распространять духовные практики и мистическую доктрину своей обители. Сестра Изабель с радостью проповедовала перед любой набожной душой, искренне готовой внимать. Среди тех, кто регулярно посещал ее трудные уроки, выделялся невысокий, хрупкого сложения, очень восприимчивый отрок двенадцати лет. Это и был Жан-Жозеф, именно таким образом предпочитавший проводить немногие свободные часы. Сестра Изабель говорила с густым акцентом, слова чужого языка шли трудно. Замерев возле решетки, отрок слушал о божественной любви, о блаженстве единения с Господом, о скромности и самоуничтожении, о чистоте сердца и освобождении разума от мелочных земных забот. Жан-Жозефом овладевало желание вступить в борьбу с мирской суетой и собственной плотью, с властью всего земного – сражаться и победить. Тогда он станет одним из достойных, тогда посвятит себя Богу. Всем сердцем жаждал он духовной борьбы. Вскоре после того, как Жан-Жозефу сравнялось тринадцать, ему было видение; отрок счел его знаком Господней милости, обещанием победы. Молясь в кармелитской церкви, Жан-Жозеф вдруг решил, что на него нисходит особый, божественный свет, открывающий истинную природу Господа и в то же время не отрицающий атрибутов, которым Бога наделила человеческая вера.

Память об этом свете и о неземном блаженстве никогда не покидала Жан-Жозефа. Во-первых, она уберегла его — современника Грандье и Бушара, возвращенного и воспитанного, как они — от «похоти плоти, похоти очей и гордости житейской». Не то чтобы гордость и два вида похоти вовсе не коснулись его. Напротив, Жан-Жозеф нашел их ужасно привлекательными. Он принадлежал к тому нервическому типу хрупких, болезненно-впечатлительных молодых людей, которых сексуальные импульсы порой доводят до иступления. Вдобавок Сюрен был одаренным литератором, и в зрелые годы ему приходилось серьезно бороться с искушением променять высокодуховную жизнь на писательскую славу, заняться вопросами эстетики. Амбиции, свойственные любому талантливому человеку, раздражали респектабельнейшую из «похотей очей»; Сюрен чуть было не уступил. Без сомнения, он вкусил бы широкой известности, наслаждался бы хвалами критиков (даром что отрицал бы свои заслуги), получил бы свою долю рукоплесканий восторженной публики. Но малейшая из слабостей благородного ума столь же фатальна (если речь идет о духовной жизни), сколь и самая крупная слабость ума подлого. Соблазны, терзавшие Жан-Жозефа Сюрена, обладали огромной силой вне зависимости от того, простительны они были или нет; однако божественный свет пришел на помощь, и Сюрен со всей явственностью узрел истинную суть соблазнов. Он умер девственником; он сжег львиную долю своих литературных произведений; он

согласился не просто на безвестность – на бесславие (о чем речь пойдет ниже). В следующей главе мы опишем невообразимые препятствия, которые преодолел Сюрен, и героические усилия, которые он предпринял, желая достичь совершенства как христианин. Но прежде чем мы отыщем причины странного паломничества Жан-Жозефа Сюрена, давайте поговорим о том, что подвигает мужчин и женщин предпринимать подобные путешествия в неведомое.

## II

Наблюдения интроспективного характера, осмысление поступков как наших современников, так и людей, которые жили до нас, наглядно демонстрируют, что стремление к духовному совершенствованию было и есть почти так же широко распространено, как стремление к самоутверждению, а в определенные исторические периоды оба стремления уравнивались по силе и количеству охваченных ими индивидуумов. Человек так устроен: ему хочется максимально закрепитесь в собственном «я» – но порой пределы этого «я» становятся вроде тесной и душной клетки. Иными словами, человек жаждет вырваться, сбежать с пресловутого островка, называемого личной вселенной. Не всегда это желание вызвано физической или душевной болью. В ряде случаев действительно боль является катализатором желаний. Однако оно может возникнуть и безо всяких внешних причин.

Не будь это верно, слишком многие здоровые физически и успешные индивидуумы, которые, выражаясь на языке психиатров, «великолепно адаптировались к жизни», никогда бы не ощутили потребности выйти за границы собственного «я». А они – ощущают. Даже у самых везучих обнаруживается (притом нередко) глубоко запрятанный ужас перед собственной личностью, страстное желание высвободиться из мерзкого кокона, который им соткала сама удача, сама их якобы счастливая судьба. Апеллировать к смягчению приговора, увы, можно лишь в Высший суд. Любой человек – как самый счастливый (по общепринятым меркам), так и самый обделенный мирскими благами, может, внезапно или постепенно, прийти к «лишенному прикрас пониманию и ощущению собственного существа» (как выразился неизвестный средневековый монах, автор мистического трактата «Облако неведения»). Внезапное осознание самого себя рождает мучительную жажду выйти за границы эго. «Горечь – вот мой вкус», – пишет о себе Джерард Мэнли Хопкинс.

И слова Божьего священный груз  
Мне жгуч и горек. Горечь – вот мой вкус.  
Проклятье – кость моя, и кровь, и плоть,  
Прокисла, как квашня, душа моя.  
И в сонме грешных всех мерзее я,  
Тварь потная, – себя не побороть<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Отрывок из стихотворения «Во мрак, – не в свет, – гляжу, когда проснусь...» Дж. М. Хопкинса. Перевод Н. Сидемон-Эрстави.

Итак, окончательное проклятие жизни – быть тварью потной. «Кость моя, и кровь, и плоть» – тоже проклятие, но подлежащее обжалованию, ибо оно относится к повседневной рутине. Большую часть времени наше сознание тускло, но порой все чувства обостряются и обнажаются. «У каждого из людей есть повод для печали, – говорит автор „Облака неведения“. – Но печальнее прочих тот, кто знает и чувствует, что он такое на самом деле. Лишь эта печаль истинна; остальные в сравнении с ней – суетны, а не познавший ее – жалок. Ибо печалиться способен лишь тот, кому ведомо, кто он, но не это одно; печалиться способен лишь тот, кто ощущает на плечах бремя этого знания. И кто не ведал такой печали – да отведает, кто не сгибался под таким бременем – да согнется. Ибо печаль сия очищает душу и от греха, и от боли за грех; ибо открывает душу для радости, каковая радость возвышает человека над самим собою».

Нам хочется выйти за границы своего «я» потому, что необъяснимым образом, вопреки земному неведению, мы все-таки интуитивно знаем, кто мы такие на самом деле. Мы знаем (точнее, нечто внутри нас знает), что наше индивидуальное знание зиждется на той же основе, что и знание всеобщее; что Атман (сиречь Разум в процессе выбора временной точки зрения) тождественен Брахману (Разуму в его вечной, неизменной сущности). Нам это все известно – даже тем из нас, кто и слыхом не слыхивал об учениях, в которых



фигурирует Изначальная Истина; или же слыхивал, но счел такие учения бредом. Известен нам и вывод, и он – следующий. Финал, конечная цель человеческого существования – потеснить собственное «я» и впустить нечто высокое – «Бога»; дать подсознательному подняться на уровень сознания. Умереть совершенно, чтобы верны оказались слова: «Я распят вместе с Христом, но я жив; но это жив не я, это жив во мне Христос». Если этот феномен – эго – вырывается из собственной оболочки, тогда и для «я», в терминах конечности сознания, открывается факт его вечности – заодно с фактом, что всякая составляющая эмпирического мира также не чужда вечности и бесконечности. Это – освобождение, просветление, озарение, дивное видение, в котором все сущее предстает как оно есть, а не в зависимости от appetitов алчного эго.

Изначальная Истина «ты есть часть Творения» заключена в индивидуальном сознании. Религия для своих целей конкретизирует – добавляет Бога. То есть противопоставляет бессмертное божество смертному человеку. Одновременно Изначальный Долг (потеснить собственное «я», впустив нечто высшее, поднять подсознательное на уровень сознания) превращается в долг достичь спасения души в рамках Веры. На этих двух проекциях строятся религии; на их основании предлагаются догматы и способы посредничества между человеком и Богом, а также символика, обряды, правила и заповеди. Человек, подчиняющийся правилам, чтя-

щий «посредников», исполняющий обряды, верящий в догматы и трепещущий перед Богом Бесконечным, может, с помощью того же Бога, рассчитывать на спасение. Достигнет ли такой человек просветления, неразлучного с пониманием Изначальной Истины, – зависит вовсе не от методичного выполнения церковных предписаний. Тут дело в чем-то другом. Да, религия помогает индивидууму забыть себя и свои примитивные представления о вселенной; да, религия подготавливает озарение. Но также она возбуждает и поощряет страх, педантизм, праведный гнев, корпоративный патриотизм и нетерпимость ко всем иноверцам, превозносит достоинства определенных теологических понятий и даже определенных словесных формулировок. Тогда религия – не путь к просветлению, но препятствие на этом пути.

Понятия «Изначальная Истина» и «Изначальный Долг» присутствуют во всех ведущих мировых религиях. В христианстве долг – это союз души с Троициным Богом, то есть одновременно с Отцом, Сыном и Святым Духом, которые составляют Троицу. То есть получается соединение с источником и Основой всего сущего, соединение с проявлением этой Основы в человеческом сознании и соединении с духом, который связывает Непознаваемое и известное.

Союз лишь с одним членом Троицы, в обход двух других, просветления не обеспечит. Так, союз только с Отцом есть познание Основы в ее бесконечной сущности, но никак не познание проявления Основы в земной жизни. Пол-

ностью освобождающий и просветляющий опыт бесконечен во времени и не двойствен в разнообразии. По учению махаяна, для бодхисатвы (просветленного), подчеркнутая независимость шраваки (исповедующего хинаяну) – отнюдь не просветление, а напротив, препятствие к его достижению. На Западе нападки на квиетизм были вызваны интересами Церкви и привели к гонениям. Шравак никто не преследовал за их убеждения – им просто говорили, что они заблуждаются. «Шравака, – пишет Мацзу Даои, – является просветленным, но заблудшим. Обычный человек, который сбился с дороги, он все же несет на себе печать света. Шраваке невдомек, что Познание не ведает ни этапов, ни причин, не зависит от воображения. Посредством самодисциплины он достиг результата и пребывает в самадхи, на границе с нирваной. Но, просветленный, шравака все-таки на ложном пути. С точки зрения бодхисатвы пребывание в самадхи подобно адским мучениям. Шравака похоронил себя в пустоте и не представляет, как выбраться из состояния медитации, ибо не ведает, в чем суть Будды».

Ведающему одного лишь Отца не понять сути мира, этой множественности, заявляющей о недвойственной Бесконечности, этого временного порядка, без которого невозможен порядок вечный. Кто жаждет познать мир как он есть, должен стремиться к союзу не с одним Отцом, но с Сыном и Святым Духом.

Союз с Сыном склоняет человека к самоотречению любви

в высоком смысле слова. Союз со Святым Духом одновременно является средством достижения и результатом выхода за рамки своего «я» в безбрежье этой любви. В совокупности они позволяют осознать то, чем каждый благословлен изначально, — а именно союз с Отцом. В тех случаях, когда индивидум слишком уповает на союз с Сыном — то есть когда все усилия сосредоточены на помощи ближнему, — сама вера становится чем-то вроде сделки. Внешние проявления — добрые дела; изнанка — видения, знамения, выматывающие эмоции. Результат в плане просветленности — нулевой. Не работают ни видения, ни эмоции в отношении кумира (реального или выдуманного). Просто их недостаточно. Ибо их ценность, если говорить об освобождении и просветлении, — сугубо прикладная. Вроде бы воспитывая самоотречение, они порой помогают человеку, одолеваемому видениями или эмоциями, познать божественную Основу собственного его бытия. Сочетание труда, видений и эмоций есть вера — но не в смысле «убежденность в истинности некоего набора теологических и исторических утверждений» и не в смысле «страстное упование, что спасешься благодаря чужим достоинствам и заслугам». Нет, это — расчет на определенный порядок вещей, принятие некоей теории о человеческой и божественной природе; это рабочая гипотеза, построенная на ожидании: то, что началось как допущение, рано или поздно станет явью — понятно, не без вмешательства сил, пока неведомых пленному «я».

Заметим, что под «неведомым» обычно понимается не только божественная Основа человеческого бытия, но и все или почти все, находящееся между этой Основой и нашим обыденным сознанием. Например, для тех, кто экспериментирует с экстрасенсорным восприятием или пытается предсказывать будущее, не существует четких различий между успехом и неудачей. Сам процесс угадывания приносит всегда определенные ощущения, вне зависимости от процентного соотношения «сбывшееся – несбывшееся», и от того, случайными были правильные догадки или нет. То же можно сказать о лабораторных исследованиях – но не о ситуациях иного рода. Видения и предсказания будущего порой случаются спонтанно, чему имеется достаточно подтверждений, а лица, в них задействованные, пребывают в ясном сознании и не сомневаются в правдивости посылаемой им свыше информации. Если же брать только сферу божественного, то и там найдутся примеры неожиданных богоявлений. Внезапно включившаяся интуиция открывает прежде закрытое, да с такой убедительностью, что сразу отпадают все сомнения. Достигших высшей степени бескорыстия мужчин и женщин такие откровения могут начать посещать все чаще, даже стать привычными. Союз с Сыном (через труд) и союз со Святым Духом (ведущий через покорность – к озарениям) делают возможным и союз с Отцом, – союз сознательный и обновляющий человеческое «я». Тогда уже объекты перестают восприниматься через призму пленного «я», но

открывают свою истинную суть – иными словами, родство, сокровенное сходство с божественной Основой всего сущего.

Для целей просветления и освобождения союз только со Святым Духом ничуть не лучше, чем союз только с Отцом, предполагающий отречение от всего мирского, или союз только с Сыном, направленный на богоугодные труды и раздражение эмоций. В тех, кто предпочел союз с Духом, мы обнаруживаем мышление оккультистов и поведение психически больных или как минимум гиперчувствительных людей. Эти последние либо рождаются со способностями улавливать тончайшие импульсы, посылаемые подсознанием, либо приобретают эту особенность. Разум у них теряет индивидуальность, он – только проводник, то есть медиум. Каждый раз он заполняется информацией – и каждый раз выкристаллизовывается новое «я». Их, этих «я» с размытыми границами, может быть несколько. Некоторые – это сознание конкретных людей из плоти и крови, другие – «сущности», перенесшие телесную смерть. Попадаются и так называемые «идеи» – паттерны, возникшие на почве тяжелых или приятных переживаний, отражающие индивидуумов и рвущиеся, будучи «плодами опыта», вон из чужого подсознания. Наконец, могут попадаться и вовсе сущности нечеловеческой природы – как дружественные, так и злые или просто чуждые человеку. Словом, на гибель обречен всякий, кто стремится к союзу исключительно с Духом. Игнорируя зов соединить-

ся с Сыном, позабыв о финальной цели – освобождении и просветлении через союз с Отцом, эти заблудшие неминуемо пропадут. Для них заказан и настоящий союз с Духом; дух, да только не Святой, их просто поглотит, они растворятся в обитателях «тонкого мира» – а ведь большинство этих обитателей не ближе к просветлению, чем мы с вами, даром что некоторые из них, будучи бестелесными, непроницаемы для Света даже больше, чем те, кто пока облечен в плоть.

Смутно мы понимаем, кем являемся. Отсюда – наша тоска, наша жажда стать другими, шагнуть за границы этой камеры-одиночки – собственного эго. Путь к озарению лежит через бескорыстие и послушание (то есть через союз с Сыном и Святым Духом). Только так мы познаем Отца, в союзе с которым живем, сами того не ведая. Но, как говорится, гладко было на бумаге... Так вот: для тех, кого пугают тернии пути, есть облегченная альтернатива. Причем не одна. Просветление – это путь вверх, правильно? Не всегда. В большинстве случаев это либо побег в низшие пределы личности, либо горизонтальное расширение за границы эго. Никаких верхотур, иначе говоря. Мы ведь и так вечно пытаемся смягчить последствия коллективного Грехопадения в каменные мешки своих «я». Для этой цели мы, каждый по отдельности, потворствуем животным инстинктам и провоцируем ментальный распад или растрачиваем себя более приличными способами – занимаясь искусством, наукой, политикой, отдаваясь хобби или работе. Незачем говорить, что эта за-

мена стремлению вверх, эти попытки спрятаться в недостойных человека или сугубо человеческих суррогатах Благодати к добру не приводят. В лучшем случае они неудовлетворительны, в худшем – катастрофичны.

### III

Паскалевы «Письма к провинциалу» по праву относятся к числу литературных шедевров; написаны они с изумительной виртуозностью. Какая точность формулировок, какая элегантность слога, какая безупречная логика! А что за тонкий сарказм, что за изысканная едкость! Поистине, удовольствие, которое доставляет сам процесс чтения «Писем к провинциалу», затмевает вот какое соображение: в споре иезуитов и янсенистов наш непревзойденный виртуоз на самом деле отстаивает теорию куда как худшую. Победа иезуитов не являлась абсолютным благом, зато, достанься она сторонникам Паскаля, последствия были бы чудовищные. Признав янсенистскую доктрину предопределенного проклятия почти для всех людей, а также янсенистскую этику негибкого пуританства, Церковь вполне могла узаконить почти абсолютное зло. Но иезуиты одержали верх. В доктрине перегибы янсенистского августиnianства нивелировались толикой полупелагианского здравого смысла. (Занятно, что в другие исторические периоды дело обстояло как раз наоборот: крайние проявления пелагианства, например, в учении Гельве-



ция (XVIII век), или бихевиориста Джона Бродеса Уотсона, или селекционера Трофима Лысенко (XX век), смягчались разумными дозами полуавгустинианского здравого смысла.) На практике ригоризм уступил место более щадящей – иезуитской – доктрине. Поддерживалась она специфической казуистикой, имевшей целью доказывать: то, что представляется смертным грехом, на самом деле – простительно. Тут сильно пригодился пробабиллизм, который саму множественность авторитетных мнений поставил на службу грешнику, открыв для него лазейку, сиречь – право сомневаться. Строгому и последовательному Паскалю пробабиллизм казался аморальным. В наших глазах эта теория и тип казуистики, который она узаконивает, обладают одним огромным достоинством: вместе они уменьшают абсурдность жуткой доктрины о вечном проклятии. Поистине, вряд ли кто устрасится Ада, от которого можно спастись посредством софизмов, даже не вступив в противоречие с мирским законом. Иезуиты заодно с философами-моралистами того и добивались: снисходительностью удержать в лоне Церкви максимальное количество людей, включая и светских львов вместе с львицами, и опустившихся аморальных типов. Удержать – и, стало быть, усилить Церковь в целом и свой орден в частности. Признаем, что в известной степени иезуиты добились цели. Однако в то же время их победа спровоцировала серьезный раскол и в конечном счете довела до абсурда одну из главных доктрин ортодоксального христианства – доктрину веч-

ной расплаты за единовременный проступок. В результате работы сразу нескольких факторов с 1650 года стал быстро распространяться деизм, а за ним и «свобода мысли», и атеизм. А факторами этими были: иезуитская казуистика, иезуитский пробабиллизм – и карикатура на них, столь изящными штрихами и столь едкими красками нарисованная Паскалем в «Письмах к провинциалу».

Иезуиты, задействованные в нашей странной драме, определенно отличались от добрых патеров из «Писем к провинциалу». С политикой они связаны не были, контактов с «миром» и «мирянами» не имели. Жизнь вели аскетичную до героизма, граничащего с безумием – и тот же аскетизм внушали своим сторонникам и последователям, которые, в подражание патерам, стремились к христианскому совершенству. В учебном заведении иезуитского мистицизма все были мистиками – но среди прочих выделялся отец Альварес (он же – Хуан де ла Крус), наставник святой Терезы Авильской. Альварес подвергся гонениям за медитации, которые он практиковал и которым учил – по мнению одного из генералов ордена, они противоречили духовным упражнениям Игнатия де Лойолы. Впрочем, Альвареса оправдал Аквавива, будущий генерал ордена; этим деянием он определил то, что можно назвать официальными взглядами иезуитов на медитативную молитву. «Виновны те, кто, будучи незрелым и не готовым, отдается духовному созерцанию. Но не следует осуждать тех святых отцов, которые тяготеют к созер-

цанию, равно как не следует воспрещать сие нашей братии. Ибо опыт и влияние многих святых отцов показывают, что созерцание, производимое с искренностью и глубиной, куда сильнее способствует умалению гордыни, лучше воспламеняет вялые души к исполнению послушаний и труду во спасение, нежели все прочие способы свершать молитву». Таким образом, всю первую половину семнадцатого столетия членам ордена, которые являли признаки того, что мистическая жизнь — их призвание, дозволялось предаваться созерцанию; порой их даже поощряли, даром что в целом орден склонялся к активной деятельности. Позднее, уже когда был осужден Мигель де Молинос, в период яростных прений о квиетизме, пассивное созерцание стало восприниматься большинством иезуитов с подозрением.

В двух последних томах одиннадцатитомника «Литературная история религиозной мысли во Франции» Анри Бремон живописует, местами драматизируя, конфликт в ордене иезуитов между «аскетическим» большинством и приверженным созерцанию меньшинством. Алоис Поттье, серьезно занимавшийся историей иезуитов, в частности описавший жизнь Луи Лалемана и его последователей, подверг тезисы Бремона резкой критике. По мнению Алоиса Поттье, созерцательная молитва никогда не осуждалась официально, и ее широко практиковали в частном порядке даже в самые тяжелые дни антиквиетистского движения.

Однако в тридцатые годы семнадцатого века квиетизм

еще не появился (до его зарождения оставалось около пятидесяти лет), и дебаты о созерцательной молитве не отравлял яд обвинений в ереси. Генералу ордена Муцио Вителески, да и его покровителям, проблема представлялась сугубо практической. Вправду ли лучшие иезуиты получают из тех послушников, что практикуют созерцательную молитву? Или тут эффективнее молитва дискурсивная?

Отец Луи Лалеман, выдающийся иезуит – последователь созерцательной молитвы – с 1628 года занимал пост наставника в Руанском коллеже. В 1632-м проблемы со здоровьем вынудили Лалемана уйти. А Жан-Жозеф Сюрэн был отправлен в Руанский коллеж осенью 1629 года вместе с двенадцатью или пятнадцатью другими молодыми священниками. До конца весны 1630-го они проходили свое «второе послушничество». В течение всего памятного семестра Сюрэн ежедневно слушал лекции Лалемана и готовил себя, посредством молитвы и покаяния, к христианскому совершенству точно по заветам Лойолы.

Сюрэн кратко изложил основы учения Лалемана; его одноклассник, отец Риголек, вдался в подробности чуть сильнее, а уж отец Шэмпьон, из поздних иезуитов, переработал заметки этих двоих и издал их в самом конце семнадцатого века под названием «Духовная доктрина отца Луи Лалемана».

Ничего принципиально нового в этой доктрине не было. Да и откуда взяться новому? Цель – прежняя: жаждешь просветления для себя – познай сперва Бога. Как? Да все так

же – почаще причащайся, точно исполняй иезуитские обеты послушания, систематически занимайся умерщвлением плоти, сам себя проверяй, будь «на страже сердца своего», размышляй о страстях Господних (ежедневно!), а если дозрел – молись и жди, что во время созерцательной молитвы сподобишься увидеть Господа. Итак, темы самые что ни на есть ортодоксальные, сиречь древние; зато Лалеман пропустил их через себя и подал совершенно по-новому. Доктрина от наставника и его учеников имеет собственную тональность, особый стиль, специфический аромат.

Акцент сделан на очищение сердца и абсолютную покорность Святому Духу. Иначе говоря, Лалеман учил, что на союз с Отцом можно надеяться лишь тому, кто трудами и верою достиг союза с Сыном, а чуткой пассивностью созерцания – союза со Святым Духом.

Очистить сердце можно поклонением Господу, регулярными причащениями и бдением души – то есть необходимо улавливать в себе малейшие намеки на чувственность, гордыню и себялюбие – и безжалостно их искоренять. Поговорить о чувствах верующего, о видениях и их отношении к просветленности у нас будет повод в следующей главе. Пока что наша тема – процесс умерщвления «человека естественного» – ибо он должен быть умерщвлен. Вывод из молитвы «Да приидет царствие Твое» следующий: «*Наше* царствие да сгинет». С этим, кажется, никто не спорил. А вот насчет способов уничтожить царствие человеков имелись разногла-

сия. Следует ли завоевать его силой? Или лучше по-хорошему – обращением на путь истинный? Лалеман, сей ригорист, взирал на тотальную человеческую порочность по-августиниански, то есть не обольщался, будто в данной сфере что-то можно исправить. Как истинный иезуит, он ратовал за снисходительность к грешникам и тем, кто погряз в мирской суетности. Впрочем, тон Лалемана отличался безысходным пессимизмом; по отношению к себе и ко всем жаждущим совершенства Лалеман не допускал ни малейшего снисхождения. Им, как и ему самому, следовало умерщвлять, умерщвлять и еще раз умерщвлять плоть – буквально до тех пределов, за которыми настает реальная смерть. «Безусловно, – пишет Шэмпьон в краткой биографии отца Лалемана, – аскеза, принятая отцом Лалеманом, была не по силам его организму; близкие признавали, что она, аскеза, изрядно сократила ему жизнь».

В данном контексте любопытно почитать, что думал о самобичевании современник Лалемана, Джон Донн – католик, принявший англиканство, и поэт, раскаявшийся и ставший проповедником и богословом. «Чужие кресты суть чужие, как и чужие достоинства. Кресты, кои взвалил я на себя без раздумий, сразу после того, как согрешил, – не мои; не стану я тащить и крестов в угоду моде на оные. Если уж так надлежит, пусть крест будет сугубо моим, пусть Господь сколотит его лично для меня за мои страсти, и пусть я мучусь под его тяжестью. Да не сверну с пути, не забреду в дебри в поис-

ках креста, который не мне предназначен, не меня дожидается. Да не стану нарываться на травлю, не дам себя в обиду, не полезу в зачумленное место, не спровоцирую несправедливость к себе, да сумею защититься. Да не подвергну себя ненужному посту, не притронусь ни к плети, ни к розге с целью самоистязания. Но да приму свой личный крест из рук Господа – приму как неизбежное следствие моего призвания и моих страстей, как собственную мою горечь».

Взгляды, характерные не только для протестантизма, – в разное время их высказывали выдающиеся святые и богословы от католицизма. Что не мешало истязаниям плоти (порой ужасным) на протяжении веков оставаться обычной практикой римско-католической церкви. Тому есть две причины: одна – доктринальная, вторая – психофизиологическая. Для многих самоистязание являлось субститутотом Чистилища, предлагало альтернативу: страдания сейчас взамен куда как худших страданий после телесной смерти. Но имелись и другие, менее вразумительные причины мучить собственную плоть. Кто имел целью просветление, тот рассматривал голод, недосыпание и физическую боль как стимуляторы (выражаясь на жаргоне фармацевтов); эти средства изменяют состояние пациента, делают его другим. Перебор с такими средствами означает, на физическом уровне, болезнь или даже, как в случае с Лалеманом, преждевременную смерть. Однако на пути к этому нежелательному финалу, или же когда физические страдания практикуются в разумных дозах,

возможно расширение сознания – горизонтальное, а то и устремленное вверх. Известно: на голодающего в определенный момент нисходит ментальное просветление. Недостаток сна размывает границу между сознанием и подсознанием. Боль, если только она не слишком сильная, действует как тонический шок на организмы, погрязшие в удобном, размеренном существовании. Стало быть, для человека набожного подобные самонаказания и впрямь способны стимулировать процесс восходящей самотрансценденции. Правда, чаще они открывают доступ не к божественной Основе всего сущего, а затягивают человека в причудливый «психический» мир, расположенный, так сказать, между Основой и высшими, более личными уровнями подсознания и сознания. Проникшие туда обычно приобретают способности, которые наши предки называли «сверхъестественными» или «чудесными», мы же можем с полным правом заявить, что физические лишения и страдания прямиком ведут в оккультизм. Так вот, о «сверхъестественных» способностях: их, вкуче с психическим состоянием адепта, ошибочно принимают за духовное просветление. На самом же деле такая разновидность самотрансценденции – сугубо горизонтальна; вверх она не ведет. Однако, раз испытав это состояние, мужчины и женщины жаждут новых попыток – лишь бы мнимое «просветление» повторилось. Будучи богословами, Лалеман с последователями на этот счет не заблуждались: не приравнивали так называемые «особые дары» к союзу с Господом,



вообще не видели связи между двумя феноменами. (Далее мы докажем, что в слишком многих случаях «особые дары» ничем не отличаются от «бесовских козней».) Впрочем, одно дело – понимать умом, и совсем другое – чувствовать; Лалеман, а пожалуй, и Сюрен весьма тяготели к физическим лишениям, от которых сподоблялись «особых даров»<sup>33</sup>, объясняли же они свое тяготение посредством ортодоксальных представлений: мол, «естественный человек» по сути своей грешен и дурен, надо любой ценой, любыми средствами его уничтожить.

Суровость Лалемана ко всему «естественному» была направлена как вовне, так и внутрь. Мир после Грехопадения представлялся Лалеману полным хитроумных ловушек. Любование всем сущим, любовь к красоте мирской, игра ума, многообразие жизни – все это способно запутать изучающего суть человеческую, внушить ему опасное заблуждение: будто суть человека – природа, а не Бог. Этак заблудший займется изучением природы, вместо того чтобы постигать Бога. Заметим: для иезуита проблема достижения христианского совершенства отличалась особой трудностью, ведь орден не принадлежал к изолированным сообществам, братия не могла себе позволить проводить жизнь в молитвах. Нет, орден был из числа активных, состоял сплошь из апосто-

---

<sup>33</sup> Сюрен в одном из писем утверждает: «Утешение и сладость молитвы идут рука об руку с умерщвлением плоти». Читаем также: «Плоть ненаказанная, не страдавшая – не удостоится посещения ангелов. Чтобы заслужить Господнюю любовь, нужно либо страдать душевно, либо бичевать плоть свою». – *Прим. авт.*

лов, которые все свои усилия направляли на спасение душ, на битву за Церковь. Представление Лалемана об идеальном иезуите сохранилось благодаря Сюрену, который записывал за своим наставником. Вот она, цель ордена Иисуса: «соединять противоположное – например, ученость и смирение, юность и целомудрие, милосердие ко всем племенам и народам». «Нам, – продолжает Сюрен, – следует сочетать глубокую любовь к божественному с научными изысканиями и прочими естественными занятиями. Ибо слишком легко впасть в крайность. К примеру, вспылать страстью к наукам в ущерб молитве и духовным практикам. Или, наоборот, жажда духовного совершенства, не заниматься науками, не упражняться в красноречии, позабыть о благоразумии». Иезуитство тем и сильно, что «славит единение всего божественного и человеческого в Иисусе Христе и стремится ему подражать, обожествляя разом и душу, и телесные члены, и кровь... Но такой союз труден. Поэтому те наши братья, которым непонятно совершенство духа нашего, склонны цепляться за природное и мирское, отворачиваясь от сверхъестественного и божественного». Иезуит, не способный жить по духу ордена, становится этаким клише иезуита (подобные примеры во множестве сохранила история); то есть, в обывательском воображении, это человек порочный, амбициозный; это заговорщик и интриган. «Всякий, кому неведомо блаженство, даруемое внутренним миром, неизбежно впадет во грехи сии, ибо душе изголодавшейся и обделенной свой-

ственно утолять голод любыми способами»<sup>34</sup>.

Для Лалемана жизнь совершенная – значит такая, в какой уравновешены деятельность и созерцание, финальность и бесконечность, время и вечность. Поистине, высочайший из идеалов, притом – достижимый, реалистичный, максимально согласный с данностями как человеческой, так и божественной природы. Однако при обсуждении практических проблем, неизбежных на пути к этому идеалу, Лалеман с последователями впадали в оупляющий ригоризм. «Природа», которую следует соединить с божественным, понималась ими не в широком смысле, но лишь как ограниченный сегмент в человеческом разуме, вроде способностей к учебе, проповедничеству, бизнесу или управлению. Все природное, но с человеком не связанное, Сюрен в своих конспектах опустил. Коснулся этих понятий лишь Риголек, который записывал за Лалеманом полнее и подробнее. Впрочем, и Риголек не уделил им достаточно внимания. А ведь Христос в Нагорной проповеди предлагал ученикам взглянуть на лилии – причем рассматривать их почти с точки зрения даосизма. То есть не как символы чего-то слишком присущего человеку, но как нечто совсем иное, однако благословенное; как создания независимые, живущие по своим законам и в согласии с Порядком Вещей. В Притчах сказано: «Пойди к муравью, о ленивец, посмотри на действия его»; однако Христа в ли-

---

<sup>34</sup> «Иезуиты пытались соединить Бога и мир, но добились лишь презрения обеих сторон» (Паскаль). – *Прим. авт.*

лиях восхищает вовсе не трудолюбие – они, как известно, не трудятся, не прядут, а все-таки даже богатейшему из царей иудейских с ними не сравниться. Примерно об этом писал Уолт Уитмен в стихотворении «Звери»:

Не трудятся в поте лица и не сетуют ни на что, нет;  
Не знают бессонниц, не каются, пялясь во тьму;  
Речей тошнотворных о долге пред Богом не держат.  
Из них ни один ущемленным себя не сочтет,

ни один не объят

Стяжательством и накопительством, и ни один  
Колен не клонит пред другим, ни пред жившими ране  
На тысячи лет; знаменитых и ушлых среди них  
Не сыщешь – на суше ли, в небе иль в море  
возьмешься искать.

Лилии Христа очень далеки от цветов, которыми святой Франциск Сальский открывает главу об очищении души. Филотее он говорит, что цветы – это добрые намерения сердца. «Вступление» изобилует отсылками к природе – такой, какой она предстает у Плиния и авторов бестиариев; к той природе, что эмблематична для человека, да не простого, а ученого и высоконравственного. Зато «лилии полевые» наслаждаются славой, которая имеет нечто общее с девизом ордена Подвязки («Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает»). Вот в чем суть; вот почему для нас, человеческих существ, лилии полевые столь живительны, и вдоба-

вок на уровне куда как более глубоком, чем простая мораль, являются столь удачным примером для подражания. Мастер Сосан, третий патриарх дзен-буддизма, говорит в «Великом Пути»:

Великий Путь прост для тех,  
Кто отказался от предпочтений.  
Где нет омерзения, где нет восхищения,  
Там и кроется Путь.

Как всегда в реальной жизни, мы пребываем среди парадоксов и антиномий; мы вынуждены отдавать предпочтение хорошему, а не дурному. В то же время, если мы желаем союза с божественной Основой всего сущего, наша задача при выборе – забыть о сожалениях и корысти, не тащить во Вселенную собственные представления о пользе и морали.

Лалеман и Сюрен не касаются природы, не связанной с человеком; они проецируют человека на природу, ставят его неизмеримо выше, а роль природы сводят к полезности или бесполезности для человека – то есть их наставления полностью соответствуют месту и времени написания. Птицы, звери, цветы, пейзажи если и фигурируют во французской литературе семнадцатого века, то лишь в утилитарном или символическом смысле. Например, в «Тартюфе» находим одну-единственную строку, отсылающую к природе; да и то, строка малопоэтичная.

«Не процветает нынче сельская местность, ох не процве-

тает!» С этим не поспоришь. Французская литература того периода (и по Великий век включительно) цветов в сельской местности не видела в упор, даром что они, по крайней мере, лилии полевые – наличествовали. Разумеется, имелись исключения – Теофиль де Вио, Тристан Отшельник и, позднее, Лафонтен; эти пусть редко, а все же писали о животных не как о человеках в шерсти или перьях, а как о существах иного, хоть и родственного человекам, порядка, которых следует рассматривать отдельно и любить хотя бы потому, что их любит Господь. Во вступлении к басне «Две крысы, яйцо и лиса» (каковое вступление посвящено мадам де ла Сабльер) Лафонтен спорит с философскими постулатами своего времени. Вот эти постулаты, вот этот блестящий пассаж:

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.